

A 521  
КР.

Б 1190214

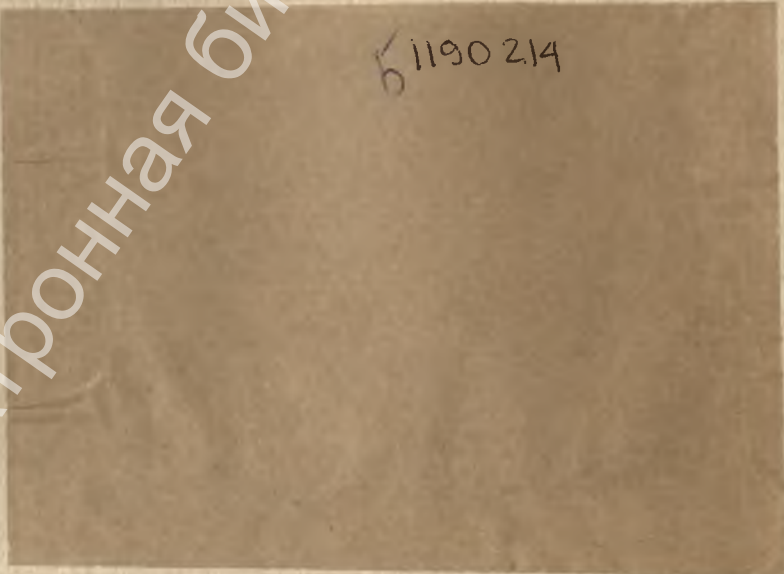


# АЛТАЙ

1.1984.

Электронная библиотека АКУНЬ, elib.akunb.ru

Электронная библиотека АКУНЬ, elib.altlib.ru



5 1190 214



А 521  
КР

# АЛТАЙ

1984

1

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ  
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ  
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Издается с 1947 года

## СОДЕРЖАНИЕ

- Обращение Центрального Комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и Коммунистической партии, к советскому народу . . . . . 4
- Информационное сообщение о Пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза . . . . . 6

### ПРОЗА

- Марк ЮДАЛЕВИЧ. Поэт. Повесть . . . . . 30

### ПОЭЗИЯ

- Эркемен ПАЛКИН. Наташа. Лирическая поэма . . . . . 25
- Станислав ЯНЕНКО. И остаются корни... Стихи . . . . . 28
- Владислав КОЗОДОЕВ. И долгий-долгий день... Стихи . . . . . 104
- Леонид МЕРЗЛИКИН. Вспоминаю все сначала. Стихи . . . . . 107

### ПУБЛИЦИСТИКА, ОЧЕРК

- Николай ШЕРСТНЕВ. Целина далекая и близкая (К 30-летию освоения целины) . . . . . 10

### ПОИСКИ, НАХОДКИ

- Семен УНИН. Еще раз о рисунке Пушкина (К 185-летию со дня рождения А. С. Пушкина) . . . . . 110
- Иван САБЛИН. Как жандармы Льва Толстого преждевременно хоронили . . . . . 117
- Л. КУЗНЕЦОВА. 158-й получает имя . . . . . 121

### КОРОТКО О КНИГАХ

- Константин КОЗЛОВ. Поэзия, устремленная в завтра . . . . . 125
- Валерий ЧИЧИНОВ. Первый шаг . . . . . 127

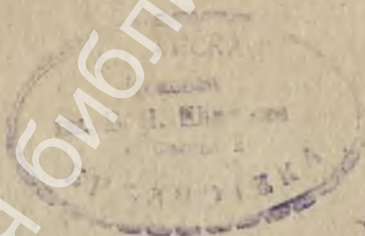
БАРНАУЛ. АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО. 1984

Редактор И. П. КУДИНОВ

Редакционная коллегия

В. М. БАШУНОВ, П. А. БОРОДКИН, В. Ф. ГОРН,  
Е. Г. ГУЩИН (зам. редактора), В. В. ДУБРОВСКАЯ, Л. И. КВИН,  
Я. Е. КРИВОНОСОВ, Г. П. ПАНОВ, И. М. ПАНТЮХОВ,  
Н. М. ЧЕРКАСОВ

Б 1190214



АЛЬМАНАХ «АЛТАЙ» 1984 № 1

Художественный редактор В. Еранкин. Технический редактор М. Сафонова.  
Корректоры Н. Тырышкина, Г. Ульяченко

Рукописи не возвращаются

АГ 00041. Сдано в набор 6. 01. 1984 г. Подписано к печати 2. 03. 1984 г.  
Формат 70x108/16. Бумага тип. № 3. Усл. печ. л. 11,2. Усл. кр. отт. 11,55. Уч.-изд. л.  
12,859. Тираж 7000 экз. Заказ № 23. Цена 50 коп.

Алтайское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам  
издательств, полиграфии и книжной торговли — 656015, Барнаул, Ленина, 76.

Производственное объединение «Полиграфист» управления издательств, полиграфии  
и книжной торговли крайисполкома — 656023, Барнаул, Г. Титова, 3.

Адрес редакции: 656099, Барнаул, пр. Строителей, 11а. Тел. 2-14-53.

© «АЛТАЙ» № 1, 1984

кр





Электронная библиотека АКУНЬ, elib.altlib.ru



# ОБРАЩЕНИЕ

Центрального Комитета КПСС,  
Президиума Верховного Совета СССР,  
Совета Министров СССР  
к Коммунистической партии,  
к советскому народу

Дорогие товарищи!

Коммунистическая партия Советского Союза, весь советский народ понесли тяжелую утрату. Оборвалась жизнь выдающегося деятеля ленинской партии и Советского государства, пламенного патриота социалистической Родины, неутомимого борца за мир и коммунизм Юрия Владимировича Андропова.

Его жизнь — образец беззаветного служения интересам партии и народа, великому делу Ленина. На всех постах, где по воле партии трудился Юрий Владимирович Андропов, он отдавал свои силы, знания, огромный жизненный опыт неуклонному осуществлению политики партии, борьбе за торжество коммунистических идей.

Качества крупного политического руководителя ярко проявились во всей многогранной деятельности Ю. В. Андропова — на комсомольской работе и в организации партизанского движения в Карелии в годы Великой Отечественной войны, на ответственных участках партийной и дипломатической деятельности. Много труда вложил он в укрепление безопасности нашего государства.

Со всей силой выдающиеся способности и организаторский талант товарища Андропова — руководителя ленинского типа — раскрылись в его работе на постах Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета СССР.

Короткий срок довелось Ю. В. Андропову возглавлять Центральный Комитет КПСС. Но за это время партия, следуя курсом XXVI съезда, творчески обогащая его, обеспечила уверенное продвижение страны на всех направлениях экономического и социального прогресса.

Важными вехами в жизни партии и народа, в укреплении их нерушимого единства стали ноябрьский (1982 г.), июньский и декабрьский (1983 г.) Пленумы ЦК КПСС. В решениях Пленумов, в выступлениях Ю. В. Андропова была развита и конкретизирована современная стратегия партии — стратегия совершенствования зрелого социализма.

В этот период усилия партии и народа были сконцентрированы на ускорении развития экономики, на улучшении управления народным хозяйством, укреплении партийной, государственной и трудовой дисциплины, повышении ответственности кадров, на развитии творческой активности масс.

Принятые партией меры подчинены одной цели — росту благосостояния советских людей, усилению могущества Советского государства. Во всем этом велики заслуги Юрия Владимировича Андропова.

Значителен вклад Ю. В. Андропова в развитие всестороннего сотрудничества стран социалистического содружества, в укрепление единства и сплоченности международного коммунистического и рабочего движения, в поддержку борьбы народов за свободу и независимость.

Под его руководством ЦК КПСС и Советское государство последовательно и настойчиво осуществляли на международной арене ленинский внешнеполитический курс — курс на устранение угрозы термоядерной войны, на твердый отпор агрессивным проискам империализма, на упрочение мира и безопасности народов.

В эти скорбные дни коммунисты, весь советский народ еще теснее сплачивают свои ряды вокруг ленинского Центрального Комитета партии, Политбюро ЦК КПСС. Трудящиеся Советского Союза видят в Коммунистической партии своего испытанного, коллективного вождя, полны решимости беззаветно бороться за претворение в жизнь ее внутренней и внешней политики, выражающей коренные интересы народа. Ленинский курс партии непоколебим. Партия вооружена ясной и четкой программой действий, выработанной XXVI съездом КПСС, последующими Пленумами ее Центрального Комитета.

КПСС будет и впредь настойчиво и целеустремленно проводить линию на всемерную интенсификацию производства, ускорение научно-технического прогресса, усиление организованности и дисциплины, на неуклонный рост материального и духовного уровня жизни народа. Она будет крепить нерушимый союз рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, братскую дружбу народов СССР, развивать социалистическую демократию, воспитывать людей в духе советского патриотизма и пролетарского интернационализма, преданности великим идеалам коммунизма.

В нынешней сложной, опасно обострившейся международной обстановке КПСС, Советское государство считают своим первейшим долгом последовательно отстаивать дело мира, проявлять выдержку и бдительность, решительно срывать авантюристические замыслы империализма, укреплять оборонную мощь страны.

Советский народ — убежденный противник решения спорных международных вопросов силой. Мир без войн — наш идеал. В борьбе за прочный мир вместе с нами — братские страны социализма, коммунистические и рабочие партии, борцы за национальное и социальное освобождение, широкие народные массы, выступающие за предотвращение термоядерной катастрофы.

Наша партия и государство будут и впредь твердо и неуклонно проводить в жизнь принципы мирного сосуществования государств с различным общественным строем. Мы желаем жить в мире со всеми странами, активно сотрудничать с теми правительствами и организациями, кто готов честно и конструктивно работать во имя мира.

Советский народ твердо знает: партия, Центральный Комитет, его руководящее ядро непоколебимо верны ленинскому знамени, делу Великого Октября. Партия свято дорожит доверием народа и считает высшей целью своей деятельности заботу о благе и счастье советских людей. Единство партии и народа было, есть и будет источником нашей силы.

В памяти коммунистов, всех советских людей Юрий Владимирович Андропов навсегда останется как человек беспредельно преданный учению Маркса—Энгельса—Ленина, принципиальный и скромный, близкий к людям труда, чуткий к их нуждам и заботам, умеющий подчинить все интересам социалистической Отчизны.

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР, Совет Министров СССР выражают глубокую уверенность в том, что коммунисты, все советские люди с новой силой проявят свою классовую сознательность и организованность, свои высокие коллективистские качества, целеустремленным самоотверженным трудом обеспечат выполнение народнохозяйственных планов и социалистических обязательств, дальнейший расцвет нашей великой Родины.



# ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

## о Пленуме Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза

13 февраля 1984 года состоялся внеочередной Пленум Центрального Комитета КПСС.

По поручению Политбюро ЦК Пленум открыл член Политбюро, секретарь ЦК КПСС тов. К. У. Черненко.

В связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР Ю. В. Андропова участники Пленума ЦК почтили память Юрия Владимировича Андропова минутой скорбного молчания.

Пленум ЦК отметил, что Коммунистическая партия Советского Союза, весь советский народ понесли тяжелую утрату. Ушел из жизни выдающийся деятель Коммунистической партии и Советского государства, пламенный патриот, ленинец, неутомимый борец за мир и коммунизм.

Находясь по воле партии на важнейших постах партийной и государственной работы, Юрий Владимирович Андропов отдавал все свои силы, знания и огромный жизненный опыт осуществлению политики партии, упрочению ее связей с массами, укреплению экономического и оборонного могущества Советского Союза.

Много внимания уделял Ю. В. Андропов проведению в жизнь выработанной XXVI съездом КПСС и последующими Пленумами ЦК КПСС линии на всемерную интенсификацию производства, ускорение научно-технического прогресса, совершенствование управления народным хозяйством, усиление ответственности кадров, организованности и дисциплины, на неуклонный рост материального и духовного уровня жизни народа.

Большой вклад внес Ю. В. Андропов в развитие всестороннего сотрудничества стран социалистического содружества, в укрепление единства и сплоченности международного коммунистического и рабочего движения, в поддержку справедливой борьбы народов за свою свободу и независимость. Под его руководством последовательно и настойчиво осуществлялся на международной арене ленинский внешнеполитический курс нашей партии и государства — курс на устране-



ние угрозы термоядерной войны, на твердый отпор агрессивным проидам империализма, на упрочение мира и безопасности народов.

Пленум подчеркнул, что в эти скорбные дни коммунисты, весь советский народ еще теснее сплачивают свои ряды вокруг ленинского Центрального Комитета партии, Политбюро ЦК КПСС, полны решимости беззаветно бороться за претворение в жизнь ленинской внутренней и внешней политики партии.

Участники Пленума ЦК выразили глубокое соболезнование родным и близким покойного.

Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании Генерального секретаря ЦК КПСС.

По поручению Политбюро ЦК с речью по этому вопросу выступил член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР тов. Н. А. Тихонов. Он внес предложение избрать Генеральным секретарем ЦК КПСС тов. К. У. Черненко.

Генеральным секретарем Центрального Комитета КПСС Пленум единогласно избрал тов. Черненко Константина Устиновича.

Затем на Пленуме выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. К. У. Черненко. Он выразил сердечную благодарность за высокое доверие, оказанное ему Центральным Комитетом партии.

Тов. К. У. Черненко заверил Центральный Комитет КПСС, Коммунистическую партию, что приложит все свои силы, знания и жизненный опыт для успешного выполнения задач коммунистического строительства в нашей стране, обеспечения преемственности в решении поставленных XXVI съездом КПСС задач дальнейшего укрепления экономического и оборонного могущества СССР, повышения благосостояния советского народа, упрочения мира, в осуществлении ленинской внутренней и внешней политики, которую проводят Коммунистическая партия и Советское государство.

На этом Пленум ЦК закончил свою работу.





Электронная библиотека АКУНЬ, elib.altlib.ru



# Константин Устинович ЧЕРНЕНКО

Константин Устинович Черненко родился 24 сентября 1911 года в деревне Большая Тесь Новоселовского района Красноярского края, русский.

Член КПСС с 1931 года. Образование высшее — окончил педагогический институт и Высшую школу парторганизаторов при ЦК ВКП(б).

Трудовую жизнь К. У. Черненко начал с ранних лет, работая по найму у кулаков. Вся его дальнейшая трудовая деятельность связана с руководящей работой в комсомольских, а затем в партийных органах. В 1929—1930 годах К. У. Черненко заведовал отделом пропаганды и агитации Новоселовского райкома ВЛКСМ Красноярского края. В 1930 году он пошел добровольцем в Красную Армию. До 1933 года служил в пограничных войсках, был секретарем партийной организации пограничной заставы.

После окончания службы в армии К. У. Черненко работал в Красноярском крае: заведующим отделом пропаганды и агитации Новоселовского и Уярского райкомов партии, директором Красноярского краевого дома партийного просвещения, заместителем заведующего отделом пропаганды и агитации, секретарем Красноярского крайкома партии.

С 1943 года К. У. Черненко учится в Высшей школе парторганизаторов при ЦК ВКП(б). По окончании учебы с 1945 года работает секретарем Пензенского обкома партии. В 1948 году был направлен в Молдавскую ССР и утвержден заведующим отделом пропаганды и агитации ЦК Компартии Молдавии. Работая в этой должности, он много сил и знаний отдал экономическому и культурному строительству в республике, коммунистическому воспитанию трудящихся.

В 1956 году К. У. Черненко выдвигается на работу в аппарат ЦК КПСС, где он возглавил сектор в Отделе пропаганды, и одновременно был утвержден членом редакционной коллегии журнала «Агитатор». С 1960 года он работает начальником Се-

кретариата Президиума Верховного Совета СССР. В 1965 году К. У. Черненко утверждается заведующим Общим отделом ЦК КПСС. В 1966—1971 годах он — кандидат в члены ЦК КПСС. На XXIV съезде партии (март 1971 г.) избирается членом Центрального Комитета КПСС, а в марте 1976 года на Пленуме ЦК КПСС, состоявшемся после XXV съезда партии, — секретарем ЦК КПСС.

С 1977 года он — кандидат в члены Политбюро, а с 1978 года — член Политбюро ЦК КПСС. Депутат Верховного Совета СССР 7—10-го созывов. Депутат Верховного Совета РСФСР 10-го созыва. К. У. Черненко был членом советской делегации на международном Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 год), участвовал в переговорах в Вене по вопросам разоружения (1979 год).

Константин Устинович Черненко — видный деятель Коммунистической партии и Советского государства. На всех постах, которые поручала ему партия, он проявил высокие организаторские способности, партийную принципиальность, преданность великому делу Ленина, идеалам коммунизма. К. У. Черненко — автор ряда научных трудов по актуальным вопросам повышения руководящей роли партии в жизни советского общества, совершенствования стиля и методов партийной и государственной работы, развития социалистической демократии. На июньском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС К. У. Черненко выступил с докладом, в котором определены главные направления улучшения идеологической деятельности КПСС в современных условиях.

За большие заслуги перед Родиной Константин Устинович Черненко дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда и награжден тремя орденами Ленина, тремя орденами Трудового Красного Знамени, многими медалями Советского Союза. Он является лауреатом Ленинской премии.

К. У. Черненко награжден высшими наградами социалистических стран.



Николай ШЕРСТНЕВ

## ЦЕЛИНА ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ

ОЧЕРК

Прошлым летом, будучи в Москве, зашел я навестить своего одноклассника по институту и коллегу по работе в целинные годы Василия Минеева. Член-корреспондент ВАСХНИЛ, директор Всесоюзного научно-исследовательского института удобрений и агропочвоведения спросил:

— Как ты думаешь, узнал бы я сейчас Барнаул?

— А что у тебя осталось в памяти о городе тех времен? — в свою очередь спросил я.

— Из окна общежития пединститута, где мы жили два дня, далеко в сторону Оби были видны маленькие покосившиеся деревянные домики.

— Теперь из этого окна красуется другая панорама. Напротив выросло здание сельскохозяйственного института, по сторонам — многоэтажные студенческие общежития. За ними (по Социалистическому проспекту) — Дворец спорта, на другой стороне — театр драмы, здание государственного университета.

— Видно, хороший театр? Иногда вижу на экране телевизора здание с оригинальной скульптурой над фасадом.

Василий Григорьевич спрашивает о городе, сопоставляет: как было и как стало; все ему интересно...

— А сколько километров от Топчихи до Чистюньки? — спросил он вдруг с улыбкой.

— Точно не помню, около двадцати.

— Не много, а мы почти день добирались. У меня и сейчас перед глазами заснеженная, неоглядная степь — ни конца ей, ни краю. Ехали на тракторных санях, стыли руки и ноги (по-весеннему были одеты). Рассчитывали, что к исходу апреля целина будет теплой и приветливой. Аи, нет! Трактор надрывно урчал, преодолевая снежные преграды, а северный ветер пробирал насквозь.

— Да! То была долгая дорога, — соглашаюсь я. — Мне запомнилось, что из Барнаула мы выехали к месту назначения — Володарскую МТС — двадцать четвертого, а прибыли вечером 30-го апреля: разлившийся Алей и бездорожье были вынужденной причиной задержки в Чистюньке на четыре дня.

— Никогда не забуду, как мы добирались от Чистюньки до Покровки на лошадях. — Друг мой смеется: — Я ведь тогда впервые в седло сел. По первости показалось, что в седле удобно, от лошади веет теплом, а потом какая-то тяжесть появилась в спине, свинцом налились ноги. «Сколько километров осталось до Покровки?» — спрашивал я ездового. «Отъехали километров пять — стало быть, еще пятнадцать, кружной дорогой едем. По прямой близко, рукой подать — двенадцати не наберется». Дорога показалась долгой и тяжелой. Еще через пять — захотелось выбраться из седла и вести лошадь в поводу, но сделать это было невозможно — лошадь брела по воде, местами вязла



по колено в снежных суметах. И когда на заходе солнца в долине показалась Покровка, появилась и надежда — утомительной дороге пришел конец.

— А помнишь, кто нас встречал там?

— Как же! — восклицает он. — Отлично помню! Секретарь райкома партии по Володарской зоне МТС Христенко. Он тогда сошел с крыльца колхозной конторы и нам навстречу: «Ну что, «всадники», добрались?»

— Теперь Василий Тимофеевич первый заместитель председателя крайисполкома. Как-то зашел к нему, разговорились, вспомнили целинные годы...

Тогда в район ехали отовсюду: трактористы и комбайнеры, шоферы и просто рабочие в надежде приобрести на целине специальность, а может быть, и найти свое место в жизни...

— А как поля выглядят теперь? — интересуется профессор. — Почвы-то алтайские богатые!

— Думаю, что и поля бы сразу не определил. Теперь они в убранстве лесных полос, а вот внутреннее содержание их требует глубокого анализа и «врачевания».

Минеев глубоко вздохнул:

— Хочется взглянуть на целину... Сколько лет прошло, а все кажется — это было недавно. Как думаешь — помнят меня в Покровке?

— Помнят... Приезжай, убедишься сам... Алтайское поле огромное, есть где развернуться Всесоюзному институту.

— Это верно, — согласился директор. — Проблем в земледелии очень много, особенно с расширенным воспроизводством плодородия почв, внесением удобрений под планируемый урожай... Если бы мы сегодня имели возможность внести в почву оптимум азота и фосфора — наши поля незамедлительно увеличили бы отдачу. Так и быть! Следующий координационный совет географической сети агрохимических опытов Западной Сибири проведем в Алтайском крае, а заодно и поклонимся целине...

\* \* \*

Пусть у читателя не сложится представление, будто все приезжали на необжитое место: забивали кол, натягивали палатки, разводили костры. Было и такое. Но Алтай и до целинной эпопеи имел свыше четырех миллионов гектаров пашни, относительно заселенную территорию.

В зоне Володарской МТС, в распоряжение которой мы прибыли, предстояло освоить земли госфонда и ранее обрабатываемые, но заброшенные, переведенные в залежь, именуемые как сенокосы и пастбища.

В праздничный день 2 мая директор МТС Яков Павлович Нечипуренко подписал приказ о назначении меня на работу агрономом по колхозу «Алтай» и тут же представил председателю Кочеткову. Познакомились. И через полчаса, усевшись в пестерек ходка, мы покатали в колхоз.

До Красноярки (центральной усадьбы колхоза) — пятнадцать километров; дорога тянется по ложбине с небольшими колками березника, черемушника и жимолости. Тимофей Михайлович рассказывает о колхозе, селе, людях. Запоминаю: хозяйство слабое, в долгах как в шелках, три поселка — Красноярка, Нагорный и Старая Алейка; жители в основном мордва, украинцы, немцы и русские; трудоспособных около шестисот человек; уже прибыло двенадцать механизаторов, я, стало быть, — тринадцатый. Неудачное число, но все же нас — дюжина!

Село произвело удручающее впечатление: деревянные покосившиеся набекрень домишки, с завалинками до окон, у каждой избы



огромная навозная куча; зола и прочий домашний мусор тоже выбрасывается на улицу. При въезде (дорога делила поселок на две части) с левой стороны скотные дворы; строения самые примитивные, ветхие. От скотных дворов до колхозной конторы двести метров. Рядом склады, где хранятся семена. По другую сторону конторы — конюшня для управленческих лошадей, за конюшней — небольшой деревянный домик с двумя вывесками. Первая гласила: «Красноярский сельский Совет», вторая — «Изда-читальня». Это, если можно так сказать, представлена центральная часть села. Никакого, конечно, проекта застройки не было (село заселялось в конце прошлого и в начале нынешнего века переселенцами из европейских районов страны). Крестьянские постройки представляли собой своеобразный «ансамбль». За избой следовала пристройка, именуемая двором, тоже деревянная, — легкое сооружение для скота от жары и ненастья, и уж, конечно, никак не утепленное для зимнего содержания.

Определил меня председатель на квартиру в избенку, что стояла через дорогу, напротив конторы. «Это, — сказал он, — самое лучшее, что я могу предложить. Семья тут из трех человек. Хозяин мордвин, хозяйка — русская».

— Постояльца привел к тебе, Петровна, — после приветствия объявил цель прихода председатель.

Румяная, лет за сорок, статная сибирячка окинула гостя с ног до головы — и председателю:

— Ай в селе людей мало, что ко мне привел?

— Людей-то немало, а у тебя ему будет лучше. И контора рядом, всегда позвать с руки...

— Положить-то его негде.

— Определишь его у окошка. Из эмтээса он привезет раскладушку, постельные принадлежности, что положено целиннику...

Вскоре зашел и хозяин: невысокого роста, сухощавый, с заостренными скулами, просмоленными усами, и буркнул:

— А я что скажу? Тебе варить и стирать — твое слово последнее.

Согласилась. Договорились: за проживание и харчи — в месяц двести рублей (Петровна при этом оговорила: летом на столе — картошка и молоко, зимой — мясо, обижен не будешь). Так оно и было.

— Первое знакомство с целиной произошло на третий день по приезде в колхоз. Вместе с бригадиром тракторной бригады Петром Тюркиным мы выехали на земли госфонда, где новые тракторы ДТ-54 уже поднимали вековой пласт. Огромное поле разбито на загонки, расставлены вешки. Смотрю вдоль нетронутой полосы: серый фон пожухлой прошлогодней травы, местами седой ковыль гнется к земле, что-то шепчет ей; одиноко торчит татарник с множеством выцветших шапок, стебель его почернел, листья обвисли, потеряли защитное свойство длинные шипы-колючки; старое, отжившее растение уже подвергалось разложению. Сквозь отмершие растения пробивалась зелень, новая растительная ассоциация — фитоценоз. Но не суждено зеленой поросли завершить цикл своего развития. Оборот пласта прервет сложившийся природный механизм накопления органического вещества в почве; вместо ковыля и татарника заколосится тут нива яровой пшеницы... И пойдет на этой земле новый отсчет времени: освоение поднятой целины на службу своему народу.

Подъехали к трактористам.

— Откуда будете? — спрашиваю белокурого парня в армейской гимнастерке.

— Из Нестеровского района Львовской области.

— А я из Цимлянского Ростовской, — говорит подошедший тракторист с другого агрегата. — Юркой меня зовут, Корнеев.

— Стало быть, земляк. Я из Морозовского...

Пожали руки, обменялись приветствиями, на душе теплее.



Еще минута-две, и трактористы пошли в работу, а я делаю свой первый шаг в агрономической практике — измеряю глубину подрезанного пласта целины. Беру в ладони лопот поросшей дерниной почвы, пристально всматриваюсь: корни естественной растительности прошнуровали верхний слой земли в разных направлениях, разделили ее на отдельные комочки различной формы — призматической, ромбической, ореховидной... Ладони ощущают приятную прохладу. И вот уже горстка темной почвы приняла температуру твоих рук, не хочется бросать; пройдет неделя, и в нее будут высеяны семена. Все есть в этой почве для появления дружных всходов — и влага, и питательные вещества. Сила в ней скрыта неисчислимая. Природа веками откладывала органические остатки растений в виде сложнейших соединений. Почвоведы считают, что для создания гумусового слоя в один сантиметр требуется не менее ста лет. А если на данном участке поднятый пласт имеет двадцать пять сантиметров, да еще и глубже почва имеет темную окраску, то сколько же лет потребовалось природе на создание такого мощного гумусового горизонта, достигающего полуметра!

В колхозе осваивались и залежные земли. Освоение их проходило с ведома районного землеустроителя. По Володарской МТС за подбор земель к распахке отвечала землеустроитель Вена Кармазина. Приезжала она в колхоз с картой землепользования, на которой уже были сделаны пометки красными штрихами с цифрой, обведенной кружочком, означавшей площадь к распахке.

— Этот участок еще не распахали? — задавала она вопрос певучим голосом, тыча в карту пальцем. — Надо распахивать. У вас же есть предписание...

— Да, предписание есть, — отвечаю Вене, — но в общем плане. Кроме земель госфонда, надо еще распахать залежи, около пятисот га.

И тогда мы ехали на поле, пригласив с собой бригадира полевой бригады, на залежный участок для принятия решения по его распахке.

— Тут мы пахать не будем, — возражал бригадир Николай Келин, — это полоса для прогона скота.

Кармазина настаивала:

— У меня предписание старшего землеустроителя. Все, что на карте помечено, должно быть распахано и переведено в пашню.

И так по каждой бригаде. Распахке подлежали елбаны и суходолы, пойма реки Алея и выгона; припахивали, что называется, к крыльцу села.

Ситуации порою возникали сложные: полевому бригадиру надо было иметь сенокосы, и он стоял на своем — не распахивать; бригадиру тракторной бригады, как руководителю производственной единицы машинно-тракторной станции, доводился план подъема целинных и залежных земель, и он был заинтересован в максимальной выработке гектаров мягкой пахоты на трактор; ему безразлично, что пахать — только бы была выработка. Агроном, как организатор и технолог, должен ходить по острию: как представитель МТС — организовать работу тракторной бригады так, чтобы по итогам года было больше гектаров на условный пятнадцатисильный трактор; как технолог — проводить на колхозных полях такие агротехнические мероприятия, которые позволили бы получать высокие урожаи. Зерном колхоз рассчитывался перед государством за выполненную работу МТС. С агронома учинялся двойной спрос: на совете МТС — за работу тракторного парка, в колхозе — за организацию и качество работ.

Организация часто требовала согласования одной и другой стороны. И не всегда «согласование» проходило гладко, порою же агрономические требования просто игнорировались. Приведу примеры первых дней агрономической работы в колхозе.

6 мая. Знакомство с полями первой бригады. Полевой бригадир Андрей Якушка скороговоркой рассказывает о каждом поле. Полного



представления о севообороте не складывается, его просто нет. На поле многолетних трав разговор:

— Травы надо бы подкормить удобрениями, — говорю бригадиру и объясняю, для чего это нужно.

Бригадир отвечает:

— Удобрений в бригаде нет, в колхозе тоже.

— Тогда проведите боронование трав; дайте Тюркину наряд — послать один трактор с боронами.

— Это надо согласовать с председателем колхоза.

— Зачем же согласовывать с председателем, если мне доверено отвечать за полеводство колхоза. Я председателю доложу о своих распоряжениях.

На завтра бороны не рыхлили уплотненную почву под травами, не было работы и на следующий день. Спрос с бригадира тракторной бригады раскрыл суть дела: Якушка под видом занятости тракторов на подъеме целины внушил председателю, что травы вырастут и без весеннего боронования.

8 мая. Третья бригада приступила к севу подсолнечника. Семена не были обработаны препаратами против вредителей. К бригадиру Дульцеву:

— Почему сеете необработанными семенами?

— Мы с председателем решили...

— Это мне дано право решать, и вы были обязаны мое распоряжение выполнить.

— В прошлом году мы сеяли такими же семенами...

12 мая. Во второй бригаде проверяю качество работы по подъему залежи. Иду по середине поля, то и дело сую в почву линейку: 15, 17, 20, 22 сантиметра. Смотрю на проход плуга, вроде бы след каждого лемеха одинаков — гребень к гребню, а глубина разная. Стоп! Брак. Тракторист в погоне за выработкой установил корпус плуга на разную глубину: первый лемех идет мелко, второй — глубже, последний — на заданную глубину. В седло и к бригадиру тракторной бригады Суминову:

— Тимофей Егорович, трактористы пашут с браком.

— Не может быть. Там наши пахали — опытные механизаторы, не допустят...

— Допустили. За допущенный брак на подъеме залежи оплата за выполненную работу снижается на 30 процентов.

Через пять дней в этой же бригаде новая стычка.

16 мая. Вечерняя радиоперекличка. В район вызвали руководителей хозяйств, МТС и агрономов. Первый секретарь крайкома партии Николай Ильич Беляев подводил итоги подъема целины, называл передовиков и отстающих, требовал усиления работы. Остановился и на весеннем севе. Обстановка не из легких: сев надо было завершать, но погода мешала, шли дожди, временами со снегом. Установка для всех была одна: любыми способами и средствами вести сев, вплоть до отключения сошников с последующей заделкой семян луцильниками, боронами. Потом с итогами первых весенних дней выступил первый секретарь райкома партии Иван Иванович Шатохин. Полевым делам в районе придавался еще более острый характер. Было от чего: погода мешала быстрым темпам подъема целины, уходили лучшие сроки посева яровых. Секретарь райкома заключал: «Невыполнение установок краевого комитета партии будет рассматриваться как попытка сорвать...» и т. д., и в том же духе.

Мне впервые тогда пришлось быть на таком совещании, и я воспринял «установки» как руководство к действию.

17 мая. После ночного дождя поля курятся теплым паром. На бригадном стане разъясняю колхозникам положение дел в крае, районе и колхозе с ходом весенне-полевых работ, даю задание Суминову:



— Сегодня будем сеять яровую пшеницу.

И в ответ слышу:

— Сыро, сошники забьются.

— Сошники поднимем, поверху сеять будем, потом семена заделаем.

— У тебя есть опыт разбрасывать семена поверху? — И сам же отвечает: — Нет! Вот то-то и оно. Зеленый, значит... А я уж на своем веку всякое повидал, шишек на свою седую голову немало набил и не хочу иметь их теперь, под старость.

— Но об этом говорилось вчера на радиосовещании устами первого секретаря крайкома партии. Для нас это закон или что? — начинаю горячиться. «Горячка» моя не действовала на бригадира. Он по-прежнему пускал дымовые кольца, сидя на скамеечке у бригадного стана.

Прыгаю на коня и в деревню, к председателю колхоза.

— Тимофей Михайлович! Тракторный бригадир отказывается сеять с поднятыми дисками, вчера же об этом говорилось...

— Ну, а я что сделаю... Он мне не подчиняется. Вы оба работники МТС. Договаривайтесь... А сеять надо.

Звоню в МТС директору, прошу приехать в бригаду. На всю жизнь я запомнил тот разговор.

Нечипуренко:

— Почему ты, Тимофей Егорович, не выполняешь указание агронома, почему стоят агрегаты?..

— Цыпленок курицу не учит, а агрегаты стоят потому как сыро... — Суминов невозмутим.

В разговор вступает секретарь парторганизации МТС Иван Прохорович Никуткин:

— Нехороший вы пример показываете молодому специалисту, товарищ бригадир! К чему эти ваши «цыпленок», «курица»? Его пять лет этому учили, диплом вручили...

— Теперь пусть пять лет у производства поучится, — не сдавался Суминов.

Мне становилось не по себе, в душе клокотание от обиды за унижение достоинства специалиста. Обращаюсь к директору:

— Если бригадиры будут так выполнять агрономические требования, я вынужден обратиться в райком партии. Так работать нельзя. Один не хочет травы боронить, другой — отказался семена подсолнечника обрабатывать, третий отказывается сеять. Пусть знают все: я могу постоять за агрономические знания... Если мои требования не соответствуют агрономической науке, можете наказать, освободить от занимаемой должности. А если...

— Никаких если! — прервал меня директор. — Я, прам, возмущен вашим поведением, товарищ Суминов, — с белорусским акцентом загремел Нечипуренко, — объявляю вам выговор за невыполнение агрономических требований. Приказ получите завтра.

Директор и секретарь уехали, а мы стояли, готовые снова схватиться в словесной перепалке. Но обмолвились коротко:

— Рискуешь, агроном! Осень покажет...

— По осени и смотреть будем, — скороговоркой выпалил я.

Агрегаты с поднятыми дисками бороздили поле, золотой россыпью искрились семена на черном фоне увлажненной почвы. На следующий день семена заделали луцильниками, прикатали...

Всходы яровой пшеницы появились на четвертый день, дружные, с яркой зеленой окраской. И ничем они не отличались от всходов, где семена заделывались сошниками. И появилась полная уверенность — пшеница тут вырастет добрая.

Эффектно выглядели поля во время созревания злаков. Окраска пшеничного поля определялась сортавыми достоинствами. Мильту-



рум — красный фон, альбидум — белый. На целине зрел отменный колос, хорошо озерненный. На поле — ни соринки. От обилия питательных веществ и влаги рослый стебель не мог держать тучный колос, ложился.

Созревание хлебов радовало колхозников и вызывало тревогу у механизаторов: как убирать хлеб. Нагрузка на уборочный комбайн: четыреста двадцать гектаров; при производительности 14 гектаров за смену — уборка должна быть закончена за тридцать дней. Месяц надо убирать. С учетом затяжной весны уборка должна начинаться в третьей декаде августа и закончиться в конце сентября. Это при условии, что не будет простоев комбайнов. Увы! Простои неизбежны, стало быть, и сроки могут затянуться. Не меньшую тревогу вызывало и зерноочистительное хозяйство. Оно было представлено самой примитивной техникой. В каждой бригаде готовился основной ток и запасные точки на удаленном расстоянии для приемки зерна от комбайнов.

Основная масса рабочих рук на уборке должна быть сосредоточена на току: разгрузка машин, очистка зерна, погрузка в машины на элеватор. Одним словом, главная ставка была на человека, его выносливость...

Сложной была уборка в тот год, до глубокой осени, но убрали, точнее сказать, обмолотили, и вставала еще более важная проблема — куда деть хлеб?! Выполнены и перевыполнены планы сдачи хлеба в счет натуроплаты, выдан хлеб на трудодни колхозникам (впервые за все годы колхозной жизни была выдана самая высокая оплата зерном на заработанный трудодень), засыпаны семена, все колхозные риги, которые сооружались срочным образом. Государственные емкости (они тогда тоже были малы) не могли принять хлеб, что дала целина в первый год...

Большой хлеб целины поставил ряд неотложных проблем, от решения которых зависело дальнейшее развитие сельского хозяйства.

\* \* \*

Вторая целинная весна, не в пример первой, была ранней и сухой. Отсеялись быстро, организованно, если не считать хлопот по посеву «политической» культуры — кукурузы. К моей агрономической работе добавилась и общественная — избран секретарем комсомольской организации.

Как-то после посевной шли мы с Христенко по селу и мечтали: каким оно будет через пятнадцать-двадцать лет? Говорили о необходимости разработки для каждого села генплана с планировкой улиц, культурно-бытовых и производственных объектов, скверов и парков. Василий Тимофеевич тогда заметил:

— Главный объект нашей работы — люди. Люди все делают, с народом и должна вестись вся наша политическая работа. Тут целина нескончаемая.

О Христенко я уже был наслышан: бывший фронтовик-разведчик, полный кавалер орденов Славы... Мне приятно было слушать сильного духом и с волевым характером человека, хотелось запомнить каждое слово партийного работника...

Осенью, когда жатва на полях завершилась, опять встреча с ним.

— Ну что, агроном, — начал он с теплой улыбкой, — получил производственную закалку?

К чему секретарь райкома клонил разговор, мне было невдомек, только сердцем почуял: разговор начат серьезный.

— За две весны и две жатвы, — на полном серьезе говорю ему, — всего не узнаешь и опыта большого не наберешься, но знаю всех механизаторов, их отношение к земле, к работе; сработался с молодежью.



— Это уже неплохо, — говорит секретарь. — Умение понимать людей, настроить их на выполнение определенного задания, пожалуй, самое главное в работе. Я присматриваюсь к тебе с первых дней на целине... Был у нас разговор с Шатохиным по твоей кандидатуре на секретаря райкома комсомола.., Подумай.

Пытаюсь отговорить секретаря, ссылаюсь на отсутствие опыта, но все это отклонялось. Привожу еще один довод:

— Комсомольскую путевку я должен оправдать или нет?

— Вот и будешь оправдывать на комсомольской работе, — серьезным тоном закончил Христенко начатый разговор.

...Перед тем, как собраться пленуму райкома комсомола, вопрос обсуждался на бюро. Райкомовцы знали меня еще плохо и высказали возражения:

«нет опыта работы в масштабе района»;

«не знает специфики учреждений, школьных, промышленных организаций»;

«сможет ли организовать молодежь на большое дело...»

Члены бюро не возражали против избрания, но только не первым.

На пленуме выступил первый секретарь райкома партии Шатохин:

— У товарищей появилось сомнение: сможет ли предлагаемый кандидат на должность первого секретаря выполнить это ответственное поручение партии? У нас есть основание утверждать — да, выполнит! На производственной работе сумел организовать людей, не побоялся трудностей, не дрогнул (тут секретарь райкома сообщил о том, что уже имеет место «отлив» целинников). Не спасует и на комсомольской...

Проголосовали единогласно. Пришел в кабинет, сел на стульчик у окна и призадумался: с чего же начинать работу? Надо было развеять сомнения товарищей, на деле доказать, что ты можешь, а самое главное — организовать работу так, чтобы она была не хуже. Не раз задавал себе вопрос: «Почему этому не учили в институте?» И сам же отвечал: «Этого не может дать ни одна высшая школа, тут сама жизнь — университет».

Иду к старейшему коммунисту Михаилу Петровичу Ютину, заведующему отделом организационной работы райкома партии. Отнесся ко мне старый коммунист по-отечески. Долго рассказывал, а в заключение подбодрил:

— Всякая общественная работа постижима, если знаешь ее корни. А корни ее — люди, для тебя, значит, комсомольцы. Вот и начинай с первичных организаций. Побывай в каждой, узнай, чем они занимаются, а там появятся вопросы, на них будут и ответы. По ответам и делай вывод: хорошо это или плохо.

Так и пошел я «в люди», из одной организации в другую. Только колхозных организаций — пятнадцать, а еще и совхозные, МТС, школьные. Одно дело знакомиться с работой колхозной комсомольской организации — тут все понятно, а в школьной — свои особенности, значит, и подход другой. Поговоришь с людьми и столько возьмешь для себя полезного, нужного для работы.

Запомнилась мне встреча с коллективом учителей и школьников Володарской средней школы. Директор Анастасия Георгиевна Дудко рассказала о жизни школы, комсомольской и пионерской работе. Школа имела ветхий вид, в отдельных классных комнатах стояли подпорки, а жизнь в ней была ключом. Все преподаватели были закреплены за производственными бригадами, фермами, выступали с беседами, лекциями, устраивали громкие читки газет. У ребят своя интересная работа — различные кружки: своими руками изготавливали наглядные пособия для занятий — и это доставляло им радость.

— Какие у вас будут пожелания райкому комсомола для улучше-



ния работы с молодежью, школьниками? — спрашивал я Анастасию Георгиевну.

— Пожелания, пожалуй, можно высказать, но удастся ли их выполнить. — У директора школы было сомнение, и она не решалась сказать прямо, сразу. — Я имею в виду пионеррию. Формирование отношения к труду, учебе начинается с детства. Ребята на все мероприятия отзывчивы, обязательны. Как бы с ними провести районные мероприятия, скажем, пионерский сбор с зажжением костра. На нем ребята померились бы силами в творчестве, посмотрели — как делают другие, спели пионерские песни.

Пожелания были не из легких, но посоветовавшись с завруно, в райкоме партии, решили провести летом районный пионерский слет. Сколько было радости на этом празднике! Каждому хотелось отличиться, ведь на слет приехали лучшие из лучших. И когда вечером на стадионе вспыхнул огромный костер, озаривший пламенем красногалстучную детвору, зазвенела и песня. На пионерский костер пришли и старшие, пришли дедушки и бабушки полюбоваться своими внуками. Мероприятие удалось. Его воспитательное значение для подрастающего поколения сказалось и в будущем. Спустя много лет на встрече со студентами педагогического института ко мне подошла девушка и говорит:

— А я вас знаю. Запомнила еще на пионерском слете... А теперь вот сама еду на практику в школу и думаю, как же мне организовать работу с ребятами. Трудно все-таки...

Правильно сказано: «Всякое начало трудно...» Трудно было начинать осваивать целину, а взявшись — осилили. Постепенно осваивалась и комсомольская работа.

Программой к действию в работе с молодежью явилось «Обращение участников совещания комсомольцев и молодежи, отличившихся на освоении целинных и залежных земель», принятое на совещании в Москве (январь 1956 г.). В нем говорилось: «Не гостями, не «сезонниками» чувствуем мы себя на новых местах. Многие из нас уже живут здесь почти два года. Крепко полюбили нас раздольные степи. И чтобы лучше устроиться здесь, перенести в степь городскую культуру, чтобы даже со стороны видно было — вот в новых поселках живут посланцы социалистического города, живут хорошо, радостно — мы обращаемся к вам, молодые целинники, с призывом активнее участвовать в строительстве жилых домов, школ, клубов, больниц, столовых, магазинов...»

И застучали топоры в лесосеках, развернулось кирпичное производство, строительство культурно-бытовых объектов. Подхвачены призывы: «Молодежь — на фермы!», «Живешь на селе — знай технику!» Появились и комсомольско-молодежные фермы, уборочные агрегаты.

До всего было дело у комсомольских работников. По командировкам ездили много и подолгу. Инструкторы Николай Пустакин отвечал за работу в комсомольских организациях Чистюньского куста, Леонид Бондарчук «сидел» на Володарском, Яков Лобастов курировал Топчихинский. В райком приезжали на бюро и получать зарплату. Никто из райкомовцев не чурался черновой работы. Бондарчук, Бустакин, Гончаров освоили на целине профессию механизатора и всегда были готовы прийти на помощь молодым трактористам и комбайнерам.

От ритма работы райкома зависела и боевитость комсомольских организаций. Мы часто выезжали на колхозные тока очищать зерно, отгружать его государству.

Сейчас в любом хозяйстве ток — это механизированный комплекс: все крутится от нажатия кнопки. В те времена надо было мускульной силой человека приводить в движение веялки. Самым ходовым и производительным агрегатом был зернопульт, но и тот требовал две пары рук для бесперебойной засыпки зерна.



Особенно запомнилась уборка в жатву-58. Та уборка была настоящей проверкой всех человеческих возможностей: мастерства, выносливости и нервов. Хлеб уродился богатый. Началась уборка и пошли дожди. Районные организации послали своих представителей на помощь колхозникам. Уехали и райкомовцы, повесив на дверях объявление: «Райком закрыт. Все на уборке!» Мне приходилось приезжать в район для участия в работе бюро райкома партии.

В середине сентября, поздним вечером, после заседания бюро райкома, ко мне подошел корреспондент газеты «Советская Россия» Царев:

— Еду в хозяйства, нужен мобилизующий материал, рассказать о передовиках, использующих любую минуту для уборки, — с ходу начал корреспондент, — но, понимаешь, шофер плохо ориентируется ночью по полевым дорогам, боюсь, как бы без толку не убить дорогое время.

— Мне тоже — надо к своим товарищам в Красноярку, проверить работу комсомольско-молодежных агрегатов...

— Вот и хорошо, едем, — тряхнул Царев пышной шевелюрой.

Ехал я с корреспондентом, а у самого поджилки ходуном: работают ли ночью агрегаты, очищают ли зерно... Миновали поля колхоза «Родина», кругом тишина, не мерцают огоньки; на Хабазинских полях тоже затишье. Проехали речку Алей — и мы в Красноярске, на полях колхоза «Алтай». На току встретили райкомовцев Виктора Непряхина, Николая Пустакина, колхозную молодежь. Работа кипела. Машины одна за другой привозили зерно от комбайнов, тут же разгружались и снова к ним. Поехали и мы к комсомольско-молодежному агрегату, который возглавлял Адольф Люцев. Сцеп степных кораблей медленно двигался по широкому полю. Лопастей мотовила с приспособлениями поднимали полегшие стебли и направляли на режущий аппарат. Поднимаемся на мостик флагманского комбайна С-1. Представляю Люцеву корреспондента.

Корр.: Какой настрой у коллектива уборочного агрегата?

Люцев: Доказать, что и ночью можно убирать хлеб. Ребята работают с душой.

Корр.: Другие ссылаются на непогоду, темпы обмолота очень низкие. Как вам удается?

Люцев: Погода и нам мешает. Но когда нет погоды, мы проверяем узлы, подтягиваем крепления, а когда ветерком продует хлеба — мы снова в работу.

Корр.: До каких пор ночью намерены молотить?

Люцев: Пока не упадет роса...

В газете за 20 сентября 1958 г. Царев писал: «Далеко в степи двигался агрегат комбайнера А. Ф. Люцева. Было три часа ночи. Комсомольско-молодежный коллектив решил доказать всей бригаде, что и ночь на уборке — рабочая пора. И доказательство получилось весьма внушительное: за ночь сцепом двух комбайнов был обмолочен хлеб с 18 гектаров, а за сутки — с 42 гектаров. Кстати сказать, остальными девятью комбайнами, имевшимися в бригаде, за эти сутки скошено только 48 гектаров.

Пример комсомольско-молодежного коллектива А. Люцева говорит о том, что весь район может резко ускорить обмолот хлебов».

Работа в комсомоле дала много полезного для понимания молодежи, умения организовать ее на большие дела. И сейчас, спустя много лет, я с благодарностью вспоминаю своих комсомольских товарищей: Наташу Чернякину, Машу Гуцеву, Виктора Непряхина, Николая Пустакина, Николая Гончарова, Леонида Бондарчука, Василия Рахманова и других.

Комсомольская работа вывела каждого из нас на большую жизненную дорогу, подготовила молодых к выполнению более ответствен-



ной работы. Одним доверили возглавлять крупное хозяйство, другие пошли на партийную работу, третьи нашли свое призвание в прессе — нести людям живое слово партии...

В январе 1959 года в период работы внеочередного XXI съезда КПСС меня вызвали в краевой комитет партии. Заведующий отделом организационно-партийной работы Геннадий Павлович Перегудов без особых предисловий сказал:

— Есть предложение послать тебя на советскую работу.

От прилива крови загорелись уши, заколотилось сердце. Холодным потом покрылись руки... Нет, не от радости, скорее от чувства большой ответственности за предложенную работу.

В двенадцать часов меня пригласили в кабинет секретаря крайкома. Короткая беседа. Секретарь вызвал Москву и сказал мне:

— Будете говорить с Пысиным...

— Слушаю вас, Константин Георгиевич!

В трубке приятный бархатный голос:

— Решение секретариата крайкома партии надо выполнять.

— Есть выполнять! — коротко, по-военному последовал ответ первому секретарю крайкома партии.

— Желаю успеха!

На том разговор и закончился. Партия сказала: «Надо». — Комсомол ответил: «Есть!»

...Поистине: люди поднимали целину — целина поднимала людей.

\* \* \*

О целине теперь говорят как о всенародном трудовом подвиге. Много написано о целине книг и брошюр, поставлены фильмы, но живое слово ее непосредственных участников остается самым доходчивым для широкого круга слушателей.

Мне всегда приятно встречаться с молодыми людьми, которым по двадцать. Слушает молодежь о целине с большим вниманием. Много задает вопросов. И это понятно. Целина теперь стала историей, а история — это сам народ, он ее творец.

— Как вы представляли Сибирь, ее людей и какими их встретили? — спросила студентка факультета иностранных языков педагогического института.

Ответить на поставленный вопрос было непросто. Но именно первое восприятие Сибири, встреча с людьми остались в памяти очень прочно.

— Когда получили комсомольские путевки и направление на работу в Алтайский край (нас было направлено 55 человек), каждый, естественно, начал листать энциклопедию. Все, что относилось к Сибири, ее краям и областям — было проштудировано. В институте нам уже было известно о знатных людях Алтая — Андреевой и Ефремове, получивших рекордные урожаи яровой пшеницы, знали мы звеньевую из Кемеровской области Картавую, получавшую по 1200 центнеров картофеля с гектара. Но сколько бы ни читали, создать представление о Сибири по написанному невозможно. Надо самому проехать, пройти пешком, вдохнуть полной грудью сухой степной воздух, запечатлеть гамму цветов, полюбоваться непроходимой тайгой, могучим кедром, богатой растительностью и животным миром, ощутить разницу времени часового пояса — тогда только поймешь всю значимость Сибири, ее несметные богатства. Помните, как писал великий русский ученый Михайло Васильевич Ломоносов: «Могущество российское прирастает будет Сибирью». Так вот: первое представление о Сибири началось после Уральского перевала. На смену Курганским лесам пришла Омская степь и Новосибирская лесостепь. Сколько ни смотри вдаль — все как на ладони. Смотрим на часы: московского времени только за



полночь, а за окнами вагона забрезжил рассвет. Через полчаса и на макушке красавицы березки заиграли первые солнечные зайчики. Сибирь начинала свой трудовой ритм.

...Добрались мы до Володарки 30 апреля поздно вечером на тракторе С-80. Механик МТС Степан Егоров, у которого мы переночевали, утром следующего дня упредил: «Погуляйте, ребята, посмотрите село и к обеду возвращайтесь». Пришли мы сразу на крутой обской берег и долго любовались могучей сибирской рекой. От крутого берега до песчаных наносов правобережья теснился караван больших и малых льдин, бурунами кипела, пенилась в прогалинах вода. Зрелище впечатляющее! Подошел молодой паренек в темно-синем плаще, серой клетчатой кепчонке.

— Откуда, ребята? — спросил он.

— Из Ростовской. Станцию Персиановку слышал?

— Из Азово-Черноморского, стало быть!

— Точно! А ты откуда? — в свою очередь спросили подошедшего.

— Из Ворошиловоградского. Иван Савельев, — представился тот.

Познакомились. Пошли в сельский клуб, посмотрели школьную самодетельность. Время подходило к обеду. На наш вопрос о пищеблоке Савельев ответил:

— Столовой в селе нет, пойдемте в магазин, что-нибудь купим пожевать.

Мы, конечно, могли бы и на квартиру идти, но как привести еще одного незнакомого человека. В магазине местный коренастый мужчина посоветовал:

— Вы, ребятки, не печенье берите, а «капли для сугрева», да и заходите в любую избу, какая вам приглянется, дорогими гостями будете.

Так и сделали. Идем по селу, выбрали избу, стучимся.

— Заходите, — донесся глухой женский голос.

Открываем двери. Женщина приоткрыла занавеску с большой русской печки, окинула нас взглядом. Приветствуем хозяйку с Первомайским праздником, желаем здоровья всему семейству и тут же сверток на стол.

— Батюшки, да что ж это я лежу, проходите в горницу! Нинка, Валя, где вы?

Дочек в избе не было. Хозяйка сунула босые ноги в галоши, вышла из избы и через несколько минут вернулась в окружении своих взрослых, пышущих здоровьем дочерей.

— Гости у нас, а вас леший где-то носит...

Угощала хозяйка отменными щами с гусятиной, шанежками, налила и домашнего изделия по стакану каждому, приговаривая:

— Заходите завсегда, дорогими будете.

В доброте сибиряков я потом убеждался много раз. Открытая у сибиряков душа, доверчивая. Говори откровенно, но не хитри и не вилай. Тяжелую ношу дели поровну...

При встрече с рабфаковцами (подготовительное отделение в институте) демобилизованный солдат спросил:

— Какой день на целине запомнился как самый трудный, если такой день на самом деле был?

— Да, был такой день. Трудных дней на целине было много, но этот запомнился. Это случилось на пятый день работы, 7 мая. С утра день обещал быть теплым, солнечным, все отправились на работу, и я, конечно, подседлал своего Агронома (такую кличку дали мышастой масти лошадке) и отправился на земли госфонда. Надо было проверить качество работы, побеседовать с трактористами и прицепщиками (тогда на каждом плугу сидел человек, чтобы включать и выключать почвообрабатывающее орудие). Пополудни из «гнилого» угла (так зывали юго-западную часть горизонта колхозного землепользования)



появилась черная туча с белоснежным ожерельем. Не прошло и полчаса, как сильный ветер завыл разными голосами в щелях передвижного тракторного вагончика; крупные капли дождя забарабанили по его железной крыше. Дождь сменился градом, а потом повалили хлопья снега и снова сильные порывы ветра с дождем. Бригадир тракторной бригады Петр Тюркин покачал головой:

— Всякая погодушка бывала, но такой еще на своем веку не помню. Надо подаваться в село, сердце чует — беда!

Бури не ждали. Нахлынувший ураганный ветер с дождем обрушился на скот, впервые выгнанный на выпаса, и погнал его в своем направлении. Как ни пытались пастухи завернуть животных в сторону села — ничего не получалось. Пригнув головы к земле, молодняк, овцы покорились стихии и попали в западню — овраги, трясины.

Нашей бригаде предстояло разместить оставшийся скот и накормить. Надо было раскрыть крышу, дать иструхшую солому голодным измученным животным. Долго мне пришлось тогда орудовать вилами на крыше под дождем и ветром, и когда уже не оставалось сил, вымокший до нитки, услышал: «Хватит, слезай», кубарем свалился с крыши. В тот день я получил представление о состоянии животноводческих построек и кормовой базе. Постройки старые, ветхие, еще от первых лет коллективизации, продуктивность — ниже быть не может: 750 литров на фуражную корову в год; падеж огромный, кормов едва хватало до апреля, а там надежда на выпаса. А так как весна запоздала, то бескормица истощила скот и первый выгон обернулся большими потерями...

— Какое самое сильное впечатление осталось от целины? — спрашивают ребята.

— Самая впечатляющая картина — это, конечно, хлеб. Большой целинный хлеб! И на «старых» землях в тот год зрел богатый урожай, но на распаханых целинных землях зрел колос мощный, хорошо озерненный, с высоким содержанием белка и клейковины. Тогда колхоз выполнил два плана продажи зерна государству, выдал по трудовням колхозникам (семья, где я жил, получила 30 центнеров), засыпал все емкости (зерно хранилось в ригах), на токах оставались огромные вороха хлеба, крытые соломой. Его некуда было деть. Целина дала не только хлеб, но и поставила ряд неотложных вопросов, которые надо было срочно решать в каждом хозяйстве.

На одной из встреч со студентами была подана реплика: «Все про работу на целине говорят, а как молодежь отдыхала, веселилась?»

Веселилась и тогда молодежь. Даже больше, чем сейчас. Раньше село по вечерам песнями звенело, гармошка всех звала на «сельсоветское» крыльцо. Теперь же в каждом селе клуб или, больше того, Дворец культуры, созданы все блага для молодежи, а не слышно на селе задушевной песни, частушек; сельчане погрузились в мир голубого экрана, перестал ходить сосед на посиделки, отпала нужда собираться у сельсовета «товарке». Тогда это было на первом плане. «Товарка» гремела до глубокой ночи вперемешку с игрой в третьего-лишнего. И все-таки «товарка» доживала последние дни. Приезд парней и девчат из разных уголков страны поставил вопрос развития культуры на селе.

Помню, осенью, после завершения уборочных работ, собралась молодежь на собрание, где подводились итоги первой целинной жатвы, намечали планы на будущее. Выступали активно, говорили о достижениях и недостатках. И вот слово попросила молодая учительница Полина Бадикова.

— То, что хлеба намолотили много — это хорошо, теперь пора нам поговорить о культуре. — Молодежь насторожилась. Какую культуру имела в виду учительница восьмилетней школы. — Думаю, что «товарке» надо положить конец.

— «Товарка» конец?! — загалдели молодые сибирячки. — Нет уж!



Полина волновалась. Черное родимое пятнышко на румяной щеке задергалось.

— Что в «товарке» проку? Двое поют частушки, остальные стоят, а парни — совсем в стороне. Я предлагаю открыть кружок бальных танцев.

— Каких еще бальных? — снова загалдели заядлые «товарки».

— Обыкновенные. Например: падеграс, краковяк, вальс, танго, фокстрот...

Шум усиливался. Бадикова махнула рукой, села. Ее поддержала директор школы Ольга Сергеевна Костромина.

— Смеяться тут нечего. Полина правильно выступила. Я так думаю: надо нам послать Николая Ташкина в краевую культпросветшколу на курсы баянистов, поставить вопрос перед правлением колхоза о строительстве клуба в селе; кто хочет научиться бальным танцам — пожалуйста, можете записаться, занятия один час в школе, кто не желает — продолжайте отбивать «товарку».

Предложение о строительстве клуба было единогласно поддержано, что касается других — возражений не последовало, как и не было одобрений.

И все-таки удалось послать на курсы баянистов местного парня, научились танцевать красивые танцы.

...Недолго довелось мне жить и работать в Красноярке, а запомнил ее на всю жизнь. Она была отражением существовавшего в те времена уклада крестьянской жизни, быта, культуры, психологии ее обитателей.

...Через двадцать восемь лет довелось мне снова побывать в тех местах, посмотреть — какие перемены произошли с тех пор. От старой Красноярки не осталось следа. Новые производственные постройки, новые улицы, новые дома. Полное обновление. В большой колхозной конторе оказались две женщины. Они переговаривались между собой, изредка поглядывая в мою сторону.

— Ну что, девочки, смотрите? — решил я удовлетворить любопытство знакомых мне лиц.

— Сдается, наш агроном. Боюсь спросить.

— Ваш агроном, верно. Стало быть, помните?

— Как же тебя забудешь! Все учил нас танцам. Как их тогда называли...

— Бальные...

— Вот-вот...

Посмеялись, вспоминая молодые годы. Погрустили.

Времени прошло немало.

\* \* \*

В Быстроистокском районе есть совхоз «Хлеборобный», один из 78 созданных за годы освоения целины в крае. Совхоз как совхоз, типичный, можно сказать, для всех. Пройдемте, читатель, по его центральной усадьбе, и каждому из нас станет ясно: что дала нам целина? Асфальтированные улицы, квартиры рабочих благоустроены, со всеми удобствами, по площади превосходят городские, детский комбинат на 140 мест, средняя школа с группой продленного дня, Дворец культуры, торговый центр, столовая на 100 посадочных мест; производственная база, разумеется, тоже соответствует современным требованиям агропромышленного комплекса.

Вместе с директором Александром Никифоровичем Бочаровым считаем зерно, полученное с целинных земель. Получается внушительная цифра — больше двух с половиной миллионов центнеров. Это только один совхоз получил! Подсчитали и молоко — сорок железнодорожных цистерн ежегодно отправляет совхоз государству! Это все резуль-



тат освоения целины. И все-таки спрашиваем доярок, в чем они видят главное благо, созданное в совхозе для рабочих? Почти хором ответили:

— Детский садик. Вы не можете себе представить, какое это счастье для родителей, когда их дети окружены заботой!..

Мы были в садике, смотрели на детвору, накормленную и уложенную в белоснежные кроватки, и невольно в памяти вставали те далекие годы, что были связаны с началом освоения целины. В той же Красноярске женщины вынуждены были сносить детей к старушкам для присмотра на полный день. И болело материнское сердце за дитя ежеминутно: «Как там ребенок? Живой, не попал ли в какую беду?» Да что говорить о селе! В самом райцентре Топчиха в те годы садик был настолько мал, что едва мог принять тридцать ребятшек...

В освоении целины партия исходила из необходимости производства хлеба в стране, создания резервного поставщика высокоценного зерна яровой пшеницы. Не один раз целинный Алтай радовал страну весомым караваном, казахстанский миллиард придавал особую значимость хлебному балансу страны, ее экономике и могуществу на международной арене, с целинной земли поднялся в космос человек...

Но целина — это не гладкая дорога, по которой можно было ехать без тряски и ухабов, не партитура на дирижерском пульте, где все расписано для каждого музыкального инструмента. Нет! Целина — это, прежде всего, понятие биологическое. Веками нетронутую почву пробудили к новому, более качественному этапу жизни, к главному свойству ее — родить хлеб! И как всякое живое существо, она уязвима. Сплошная распаханность отвальными плугами, примененце гладких катков, борон вызвали разрушение структурных агрегатов, усилили процессы дегумификации, нарушили главное ее свойство водорегулирующего механизма почва—влага—растение. Зачастила и засуха, пронесли и пыльные бури. И все эти природные явления связаны с деятельностью человека.

Но человек — творец! Нашел он такую силу, которая остановила стихию, обуздала ее нрав, вернула былую силу земле-кормилице, украсила ее лесными полосами, возродила ее золотистую ниву. Сила эта — почвозащитная система земледелия, главной составной частью которой является обогащение почвы органическим веществом, оставление стерни на поверхности почвы для защиты ее от эрозии, система мер по влагонакоплению и сохранению влаги, уничтожение сорной растительности, вредителей и болезней.

Так и хочется привести в пример колхоз имени 60-летия Союза ССР Краснощековского района. За вегетацию 1983 года на поля хозяйства выпало 6 миллиметров осадков. Влага практически не коснулась почвы. А колхозная нива выдержала засуху. На круг получено по 18 центнеров.

Высокими урожаями славятся колхоз «Заря Алтая» Завьяловского района, совхоз «Хлеборобный» Быстроистокского, колхозы имени Шумакова и «Восход» Змеиногорского района, совхоз «Слава труду» Алтайского и многие другие. Хочется низко поклониться создателям этих хозяйств за их земледельческий труд, за приумножение алтайской нивы.

...Целина. Тридцать лет минуло с тех пор, когда первые покорители пробудили к хозяйственной жизни вековые пласты плодородной почвы. Освоение целины — смелый и решительный шаг партии и советского народа по перестройке сельского хозяйства на промышленную основу, превращению ручного труда хлебороба в труд индустриальный. Таков итог подъема целины.





*Эркемен Матынович Палкин родился в 1934 году в Горно-Алтайской автономной области. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор многих поэтических и прозаических книг, вышедших в Москве и на Алтае. В этом году Эркемену Палкину исполняется 50 лет. Редакция альманаха сердечно поздравляет юбиляра.*

Эркемен ПАЛКИН

## НАТАША

ЛИРИЧЕСКАЯ ПОЭМА

Ты снова начинаешь жизнь свою  
В далеком, неизведанном краю,  
В одном из тихих, небольших селений.  
Здесь ново все — и горы, и тайга,  
И на вершинах летние снега,  
И нет столичных здесь увеселений,  
И в планах места не отведено  
Роскошным паркам и высотным зданьям,  
Лишь изредка бывает здесь кино,  
Газеты прибывают с опозданием.  
Конечно, пусть не сразу и не вдруг,  
И здесь произойдут большие сдвиги,  
Ну, а пока вечерний твой досуг  
Разнообразят радио и книги.  
— Скучаешь! — я спросил ее.  
— Ну да!  
Нет, времени свободного вот столько —  
До скуки разве, лишь ночами только  
Сон долго не приходит иногда.

Совсем бы жизнь иной твоя была,  
Когда бы ты в столице проживала.  
Но с первых дней и здесь, у нас, нашла  
Ты для себя хорошего немало.  
Порой тоска и скука сдавят грудь,  
Но поддаваться им тебе негоже.  
Еще придется всякого хлебнуть,  
Но радости, я знаю, будут тоже.  
И что бы ни случилось, знаю я —  
Тебе помогут новые друзья.  
Не бойся, если вздыбится бурян  
И непогодь алтайская подступит,  
Ты развезжать по фермам, по горам  
С друзьями будешь в валенках, в тулупе  
И в теплой, по заказу сшитой шапке  
Из мягкой выдры и из лисьей лапки  
(Потом ее покажешь москвичам —  
Заохают от зависти подруги).

Настанет март — и солнечным лучам  
Начнут морозы уступать и вьюги.  
В долинах белый поползет туман,  
Ручьи прорежут склоны и опушки,  
И робко встанет синий кёк-таман<sup>1</sup>,  
И закричат наперебой кукушки.  
А сердце вдаль, к вершинам позовет,  
Наперекор привычному порядку,  
И старичок, знакомый полевод,  
Даст умную, как человек, лошадку.  
Ты ездить не умеешь — пустяки,  
Научись! Садись, не стой  
в сторонке —

Смотри, как мчатся наперегонки  
Проворные алтайские девчонки.  
Здесь летом жарко. Босиком пройдешь —  
Мгновенно обожжет босые пятки.  
Река чуть глубже горного ручья,  
Питает лишь прибрежные покровы,  
В ней от жары и от комарья  
По целым дням спасаются коровы.  
Но пусть лютуют стужа и жара,  
И пусть от злого зноя зелень  
сникла, —

Но к этим чащам, падям и горам,  
Я вижу, ты душой уже привыкла,  
К размаху красоты и высоты,  
И я лишь об одном теперь мечтаю,  
Чтобы и к нам привыкла тоже ты  
И навсегда осталась на Алтае.

Всегда ты рада каждому помочь,  
Наедине с собой бываешь редко,  
А прошлый раз ты не спала всю ночь,  
Когда рожала первенца соседка.

<sup>1</sup> Кёк-таман — ветреники.



И бабушка, таким врачом довольна,  
От всей души сказала мне:  
— Ей-ей,  
Я руку бы не пожалела ей —  
Отрезала б, когда б не было больно...  
Родился человек в деревне нашей —  
Они назвали девочку Наташей.  
Теперь она сквозь столько лет и зим  
Пройдет по жизни с именем твоим.  
Такой же будет доброю и, может,  
Как ты, врачом хорошим станет тоже,  
Чтоб людям так же, как и ты, нести  
Тепло и радость на своем пути.  
Работою встречаешь ты зарю.  
Тебя сравнить с весенним солнцем

можно.

— Как хорошо, — теперь я говорю, —  
Защитник есть у нас такой надежный.  
Мы были далеки от всех наук —  
Смеяться над поверьями не смейте —  
Нам говорила бабушка Кузук:  
Увидеть черта — это, значит, к смерти.  
Заметишь — краснотою налилась  
Луна — сиди, не покидай аила,  
А то, не ровен час, прилипнет грязь  
И не отмыть, — она нам говорила.  
Коль на роду написано несчастье,  
То от него спасешься разве мертвым...  
И по своим углам от всех напастей  
Народ скрывался, побежденный чертом.  
Как мне хотелось разогнать чертей  
И охранять и взрослых и детей,  
Чтоб к ним ни хворь, ни порча

не ввязалась!

Ты это жизнью делаешь своей,  
Тебе под силу это оказалось.  
Глянь — женщина несет тебе кувшин,  
И молоко в нем чистое, густое.  
Пойми — подарок этот от души,  
Прими — отказом обижать не стоит.  
Недавно болен был ее сынок,  
Лежал в своей кровати без сознания —  
Теперь он носится, не чуя ног.  
И материнского полна признанья,  
Мать благодарных слов не говорит,  
Лишь молча, мягко на тебя глядит.  
Молчанье наш народ предпочитает,  
Но ты узнаешь скоро, что любой,  
Кто этого достоин, прочитает  
В глазах алтайца ласку и любовь.  
Они подчас перед тобой смущаются.  
Пускай, быть может, в этом не правы,  
Но лишний раз к тебе не обращаются  
С вопросами —

ведь ты же из Москвы!

Но ты сама рассказывай, расспрашивай —  
Я знаю: при душевности своей  
Узнаешь много от народа нашего,  
И люди здесь поймут тебя скорей.

Будь с ними откровенна и доверчива,  
Ведь стар и мал тебе всегда здесь рад.  
— Как девушка алтайская, застенчива, —  
Мне про тебя старушки говорят.  
Чего же ты теряешься — взгляни:  
Всем удалась ведь, и лицом, и ростом,  
Ну чем тебе не пара! А!..  
Они  
Считают, видимо, что это все так  
просто.  
Толкуют, будто глух я и незряч.  
— Да, — соглашаюсь я, — хороший врач.

Я не могу подумать без боязни:  
Ведь держишь ты в руках и жизнь,  
и смерть,  
И днем и ночью, в будний день  
и в праздник.  
Какую душу ты должна иметь!  
Я не забуду, как совсем недавно  
Смерть парня на твоих глазах взяла.  
Подумать только, он такой был славный,  
Также мог бы совершить дела.  
Плечистый, был бы нездоров хоть  
малость.

Он нравился не только мне, а всем.  
Он говорил:

— Немного уж осталось,  
Как отучусь — приеду насовсем...  
Он мертв...

Когда последний лист березы  
Летит, дрожа, в подстынувшую слизь,  
Тоскливо так, что подступают слезы,  
Но каково, когда погаснет жизнь!  
От горя не спасут тебя укрытья  
И самая надежная броня...  
Сидела мать, молчание храня,  
И взор не отнимая от огня,  
Ей прошептала:  
— Вы не уходите...  
Когда бы в годы прежние жила,  
Она б поклоны била без числа,  
Она бы пригласила дьярлыкчи<sup>1</sup>  
И весь бы скот свой в жертву

принесла...

Все бесполезно. Сядь с ней и молчи,  
А невтерпех — так криком закричи  
И облегчи рыданиями грудь...  
Но не за тем пролег сюда твой путь,  
И не для этого живут врачи.  
Лишь только блики солнечные в гору  
С рассветом друг за другом побегут,  
Похожим на колхозную контору  
Становится твой маленький медпункт.  
Тому лекарство выдай поскорее,  
Другого словом подбодрить спеши.  
По-русски объясниться не умея,

<sup>1</sup> Дьярлыкчи — предсказатели.



Иной молчит. Ты говоришь:

— Дьякши...

И действуешь умело, по-хозяйски,  
Появ язык безмолвный рук и глаз.  
А если будешь знать ты по-алтайски,  
Обрадуются многие у нас.

Ты вся такая утренняя, чистая,  
Что замутить и запятнать нельзя, —  
И волосы твои солнцелучистые,  
И звезды темно-синие — глаза,  
И голос твой, с прозрачностью

сравнимый,

Которую хранит в себе родник,  
И словно ветерок неуловимый,  
Касанье пальцев, белых, как кандык...  
И этими вот мягкими руками  
Ты чутко прикасаешься с утра  
К другим рукам — они тверды,

как камень,

Шершавы, как древесная кора,  
Их солнце обжигает зло и жестко,  
Их горный ветер обдувает хлестко,  
Нелегкий труд к ним издавна привык.  
— Мы лиственницы — ты средь нас

березка, —

Сказал тебе с улыбкою старик.  
Ты посмотрела на него несмело,  
Боясь, что это видно будет всем,  
Смутилась в тот же миг

и покраснела —

Да ты еще ведь девочка совсем!  
Зато невпроворот работы взрослой.  
Вот этот парень, загорелый, рослый,

Отару пас в горах и утром ранним,  
Упав с обрыва, голову поранил.  
А этот, с окровавленным лицом,  
С глубокой раной, что еще свежа,  
Был сброшен полудиким жеребцом,  
Которого в долине объезжал.  
А эта — на косилке зазевалась  
И тут же чуть без пальца не осталась.  
А вот охотник — встретился с медведем  
И тот слегка бока помял ему.

Уже старик — сидит, сжав губы, бледен.  
Как он живым остался — не пойму.  
А вот та бабушка, что на своем веку,  
Наверное, совсем не выходила  
На белый свет из дынного аила,  
Чегень варила, гнала араку  
И бодрости с годами не теряла.  
Состарившись полсотни лет назад,  
Науке отродясь не доверяла —  
Теперь пришла сама — лечить глаза.  
Сквозь малые и сквозь большие кручи  
Идем путем борьбы и правоты,  
Но жизнь сама не делается лучше —  
Ее такие делают, как ты.  
От всех от нас поклон тебе, Наташа,  
От этих гор, от речек, от земли,  
Я вижу, как с тобою люди наши  
По-новому понять себя смогли.  
Ты, ради них все силы отдавая  
И не склоняя гордой головы,  
Идешь такая светлая, живая,  
Частица солнца, неба и Москвы.

Перевел с алтайского В. Сергеев.





Станислав Степанович Яненко родился в 1947 году в г. Биробиджане. После окончания школы учился в Иркутском государственном университете. Автор двух стихотворных сборников, вышедших на Алтае. Живет в Барнауле.

Станислав ЯНЕНКО

## И ОСТАЮТСЯ КОРНИ...

\* \* \*

Это время песней стало.  
Для далеких тех ребят  
над цветами с пьедесталов  
зорю трубачи трубят.

Наша хроника надолго  
сохранила кинокадр:  
сам нарком на белоногом,  
принимающий парад.

Перед всей страной огромной  
в давний тот, тревожный год  
на рысях поэскадронно  
кавалерия идет.

Кавалерия не выдаст,  
вся поляжет, до клинка.  
Сабельный смертельный выблиск,  
льются крылья башлыка!

Но уже гонцы недоли  
из ключа забвенья льют.  
А во белом-белом поле  
танки черные поют...

После жили, не ловчили,  
на закате трудных дней  
верховой езде учили  
городских своих детей.

На трибунах ипподрома,  
собранный и веселей,  
ветераны, будто дома,  
будто в юности своей.

Видно, прадеда натура  
до сих пор во мне живет:  
сумасшествие аллюра,  
нескончаемый полет.

Мой отец, бывалый конник,  
атеист и женолюб,  
упокоился покойно,  
перейдя в земную глубину.

Только память о солдате,  
только песня о былом.

С той поры, как умер батя,  
не хожу на ипподром.

\* \* \*

То ли возраст такой подкатил:  
больше думаю, меньше желаю  
и чудес уже не ожидаю,  
стал учиться, а раньше учил.

И уже умудренно терплю  
то, что раньше казалось мне болью,  
и какую-то хрупкой любовью  
я тебя осторожно люблю.

Я потерь не хочу повторять.  
Я достаточно ошибался.  
Оттого и боюсь потерять,  
что когда-то терять не боялся.

### НОЧНОЙ ТРАКТ

Ночью по жуткой трассе,  
как от огня быки,  
с ревом, глухим и страшным,  
мчались грузовики.

Эхо внизу визжало.  
Вверх поднимался прах.  
И верещали шало  
шины на виражах.



И, оглушив окрестность,  
вычертив желтый след,  
канули в неизвестность  
за перевал Чикет.

\* \* \*

Какие погоды стояли,  
каким наделяли теплом,  
какие цветы зацвели  
в июле под нашим окном.

Какая удача валила,  
дуром, не по делу — беда.  
Какая девчонка любила.  
Какой я был юный тогда.

Какое нам солнце светило,  
каким нас кропило дождем,  
и как это здорово было.  
Не важно, что было потом.

\* \* \*

Полоса невезения —  
как полоса отчуждения.  
Выжжена болью и злом,  
пробует на излом.

Но пепелище пожара —  
благодаянье для трав.  
Этот огонь, пожалуй,  
прав.

Он и тебя не минет.  
Сердце зажми в ладонь:  
все, что в огне не сгинет,  
лишь закалит огонь.

И остаются корни!  
И, одурев от рос,

травы на палах черных  
буйно выходят в рост.

Жизнь — это продолжение.  
Значит, дорога не вся —  
за полосой отчуждения  
жизни моей полоса!

## КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

Куковала кукушка, со счета сбиваясь.  
У пустых берегов встал октябрь  
на крыло  
и ушел высоко, косяками сбиваясь,  
и перо листобой  
обронил на крыльцо.

Куковала кукушка, да под ветер,  
наверно:  
градом выбило май, а июль поржавел.  
Я смотрю на себя, и не хочется  
верить —  
я ни разу, ни разу себя не жалел.

Все, что будет — не мне, а кому-то  
другому,  
он пройдет, неподвластный судам  
и годам.  
Опускаюсь в себя, как утопленник  
в омут,  
но саднит над душой  
голубая звезда.

Но стоит над душой, как сирень  
над колодцем,  
небывалая сказка, чужая мечта —  
длинноногая, рыжая, ждет не дождется.  
Если я не приду, что же будет тогда?!

Я еще отыщу, я еще повстречаю.  
Этот срок не истек, этот лист не зачах.  
Это небо еще над моими плечами,  
это слово еще на губах, на губах...





Юдалевич Марк Иосифович родился в городе Боготоле Красноярского края в 1918 году. Детство и юность прошли в Барнауле. Участник Великой Отечественной войны. Первая книга стихов «Друзьям» вышла в 1948 году. Автор многих поэтических сборников, пьес, а также прозаических произведений «Газетчики», «Однополчане», «Тридцать второго не будет», «Голубая дама» и других. Член Союза писателей СССР. Живет в Барнауле.

Марк ЮДАЛЕВИЧ

## ПОЭТ\*

ПОВЕСТЬ

1.

Мела поземка, заставляя Егора ежиться и шурить усталые глаза. Над городом звенели колокола двадцати церквей, сзывали на вечернюю молитву.

Егор за последние дни обошел чуть не все эти храмы. У себя в деревне он иногда подряжался наколоть дров для божьего дома. Но здесь такие охотники были пошустрее и успевали опередить деревенского увальня.

Только чего и навидался Егор, так это нищих. Облепив паперть, они тянули руки за подаванием. А один безрукий и безногий обрубок тянулся всем телом.

«Не оставьте в беде мукденского солдата...»

Мукден! Болью отдалось в сердце чужое слово. Кабы не этот треклятый Мукден, он, Егорка Васильков, не скитался бы по незнакомым стылым улицам. Там, в Мукдене, вместе с другими русскими мужиками лег в землю его отец, рядовой пехотного полка из запасных, первый в своем селе и округе печник.

Еще греют в недалежней от города родной Гоньбе, в Михайловке, в Сорочьем Логу жаркие отцовские печи, да тепло их не доходит до Егора... Даже пособие, которое Егор должен получать за отца, три целковых каждый месяц, оседало где-то у старосты, а может, у волостного писаря.

Были у гоньбинского парня кое-какие вещички, тоже отцовские: полущубок, шапка, рукавицы, сапоги. Целый узел. Думал продать, да все будто корова языком слизнула. Город! Тут держи ухо востро.

Вышагивал Егор с узлом своим, а встречу барин в медвежьей полудошке. С тросточкой. Парню вдруг свойски подмигнул. Егору и стукнуло в башку — не проворонить оказию. Потянулся к этому барину, не найдется ли, дескать, какой работенки? Барин — пошто, мол, не найдись. Достает из кармана книжечку, выдирает листок и карандашом на нем что-то пишет. А сам спрашивает: «Тебя как звать-то? Поди, неграмотный?» И велит записку на пристань отнести, пароходному кассиру. Он ответ даст. «Да погоди, — говорит, — куда ты с узлом? Вон затащи в мою контору». Зашел Егор вместе с барином в контору. Барин что-то сказал швейцару и пятиалтынный ему сунул. Егору тоже дал алтын. На пристани, говорит, сайку себе купи.

Оставил Егор узел, побег на пристань. Сайку не стал покупать. Алтын еще сгодится. Подал кассиру записку. Тот прочитал и давай хототать. Знаешь, говорит, что тут написано? «Разъясните подателю сего, что он недоумок и простофиля. И пусть век благодарит меня за науку».

\* Журнальный вариант.



У Егора сердце екнуло. Прибежал назад, в контору. Ни узла, ни барина. Он к швейцару. «Где твой хозяин?» Оказалось, барин с тросточкой никакой не хозяин. И контора эта не частная — переселенческое управление.

Вот и ходит Егор обобранный и голодный. Остановился возле одного дома. Дом большой, на каменном подстенье, под железной крышей. На окнах наличники затейливой резьбы. Попытать счастья? Может, сыщется крестьянским рукам какое дело.

Открыл калитку, поднялся на крыльцо, отворил дверь на кухню. Пахнуло теплом. От тепла Егор давно отвык. Ночевал на чужих сеновалах, а чаще на берегу под бревнами, которые лежали здесь огромными таборами.

В теплой кухне — пусто. На столе коробка. Егор видел — в таких коробках конфеты продают. Ноги сами поднесли к ней. Внутри темное, студенистое. Кисель!

В жизни не воровал Егор, да голодный и владыка украдет. Ноги мигом вынесли его за калитку, понесли вдоль улицы. Скороспешно оглянулся — никого. За углом запустил пальцы в кисель. Руки стали синими, будто чернику ел. Только синева гуще. Лизнул пальцы. Нет, это не кисель. Несъедобное это.

Егор чуть не заплакал от обиды. Согрешил, на исповеди не утаишь. И все задаром. А людям, может, какая нужда в коробке в этой. Назад бы ее отнести! Нельзя. Еще в участок сдадут. Бросил коробку в снег и бегом с этого места.

В Конюшенном переулке увидел вывеску. Суп в миске дымился, гусь жареный будто дразнил голодного Егора. На блюде окорок... Трактир, видать, или ресторация.

Егор обмел руками снег с подшитых валенок, робко отворил тяжелую дверь. Сени оказались большими. Посередке торчало дерево в кадке. А сбоку были отгорожены пустые сейчас вешалки. Вверх вела широкая, устланная ковровой дорожкой лестница.

Скинул валенки, размотал портянки. Аккуратно приткнул все это имущество в уголок и только тогда заметил, что сверху на него глядит одетый в красную рубаху с тонким пояском небольшого роста мужик. Через руку у мужика торчит полотенце.

«Половой, — догадался Егор, — или, как их, официант». Нерешительно стал подыматься. Робко и торопливо посыпал словами: нету ли у них в заведении работы какой? Он сколько ден ищет, оголодал — ажно земля плывет под ногами. А ломить будет, как конь, лишь бы хлеб с водой. Ручищи-то у него... Бог не обидел. Может, сгодятся, а?

— Постой, постой, — оживился официант, — это в чем они? Руки в чем, а?

Егор оторопело забормотал:

— Там... в снегу... там...

Лицо официанта мигом посветлело, рот сложился в угодливую улыбку.

— Кузьма Прокопьевич! Милости просим! Какой гость!..

Внизу стоял сухощавый носатый барин.

— Здравствуй, Василий!.. — барин чуть помолчал и добавил: — Василийч.

Официант уже неся навстречу, полотенце на руке парусом вздулось. Расторопно принял пальто и шляпу, что-то шепнул Кузьме Прокопьевичу.

Тот стал неторопко подыматься по лестнице. Поравнявшись с притулившимся в стороне Егором, остановился, молча поманил его пальцем.

— Руки!

Егор понял, что от него требовалось, покорно показал огромные, красные от мороза, в синих пятнах от несъедобного киселя руки.



— Идем! — приказал барин.

Он не вошел в огромные раскрытые двери, за которыми виднелись окруженные тяжелыми гнутыми стульями столики, толкнул низенькую боковую дверцу, сел на потертый диван. Егор остановился у порога.

Потеснив парня, Василий Васильевич вкатил маленький, накрытый скатертью столик на колесах. Откинул скатерку, взял в руки высокую, обернутую сверху серебристой бумагой бутылку. Откупорил ее штопором. Вино запенилось, ринулось вверх, но официант ловко направил его в тонкий сверкающий бокал.

— Ваше любимое! После вчерашнего вечера в самый как раз будет-с. Семга, икорка, свежая, паюсная. Извольте закусить.

— Благодарю, Василий..: — ответил барин и опять не сразу добавил: — Васильевич.

На этот раз было сказано так, что Егор понял — Василий Васильевич здесь лишний.

Когда остались вдвоем, барин, потягивая вино и лениво закусывая, приказал:

— Рассказывай. Только не врать.

Егор поведал все, как на исповеди. И подивился — как увлекся Кузьма Прокопьевич этой коробкой с непонятным киселем.

— Помнишь, где коробку бросил? И дом, где ее стибрил, показать можешь? — Большой, с горбинкой, нос Кузьмы Прокопьевича хищно навис над Егором. — Живо одевайся, поедешь с одним человеком.

Егор вышел в те же огромные сени. Обуваясь, увидел, как сверху летел Василий. Выходило, встренуть можно куда прытче, чем официант встрел Кузьму Прокопьевича. Ну и шибкий, ну и бегучий этот официант!

Со спины у вошедшего выпирал горб, ростом он был мал, но голову задирает, как индюк.

— Родион Силыч! Родион Силыч! Изволили! Осчастливили! — с придышкой повторял Василий.

Родион Силыч даже не кивнул. И одежду скидывать не стал. В шубе, в заснеженной шапке прошел наверх. На лестнице чуть разжал губы?

— Кто?

— Все на месте-с, все — на месте-с. Прибыли-с. Ждут-с.

Из боковушки вышел Кузьма Прокопьевич. Низко поклонился:

— Здравия желаю, Родион Силыч.

Егору Кузьма Прокопьевич растолковал:

— Возле ресторана стоят сани. Сядешь в них, скажешь, куда ехать. Ящик вознице отдашь. И покажешь ему, в каком доме взял. После сюда приедешь.

Коробка оказалась на месте, лежала чуть припорошенная снегом. Мужик в санях сноровисто упрятал ее в солому. Сам он был крестьянского вида, только в санях ездить не обык, конем правил плохо.

Возле огромного дома — толпа. Народ по виду рабочий. Возница приостановился, спросил одного:

— Что тут такое деется?

— В Народный дом идем, — важно ответил мужик. — Там сегодня спектакль. А мы свой желаем показать. Про царскую милость слышал?

— Ну, слышал. А спектакль все ж таки какой?

— Пойдем, увидишь.

Возница привязал лошадь к столбу, упрятал поглубже в солому коробку с несъедобным киселем. Вошли в просторные хоромины, в каких Егор отродясь не бывал. В большом зале народу, как семечек в подсолнухе. Публика все больше чистая, разодетая. У мужиков цепки золотые через живот, а у баб и на шее бусы либо цепки, и в ушах сержки, а на пальцах золотые перстни.

Егор прижался в угол, стал примечать: в толпе не одни господа. И мужики хороваются в холсте да в ситцах. Не успел оглядеться, как раздался звонок, и все пошли в другую залу. Возница Егора потащил наверх. Там им пришлось стоять. Стулья все были заняты.

Кто-то топал ногами и кричал: «Занавес! Занавес!» Но тут перед публикой появляется небольшого роста человек. Правая рука у него висит плетью. Левую чуть приподымает вверх.

— По случаю событий, связанных с царским манифестом, спектакль отменяется. Будет митинг.

— Наглость!

— Самоуправство!

— Что происходит? Прошу объяснить! — Мужчина в военной форме поворачивает голову правым ухом к сцене. Видно, на левое глух.

— Это революция, господин жандармский ротмистр Завьялов, — спокойно и чуть насмешливо отвечает сухорукий.

А занавес уходит вверх. Открылась сцена. За столом сидят люди. Разные: и по-господски одетые, и рабочие. Один встает и передает рабочему красный флаг. На нем крупные буквы. Егор пожалел, что не умеет читать, но возница бойко залопотал: «Долой самодержавие! Да здравствует демократическая республика!»

Всех этих премудрых слов Егор не уразумел, но понял — бунтуют против царя. Даже у них в Гоньбе ропот пошел — с чо это, мол, малешенькая Япония огромадину русскую бьет? Куды ж это царь-батюшка глядит? А уж опосля январской крови, когда баб и детишек стреляли, совсем пошло. В Гоньбе, возле сборни, по случаю какого-то праздника большой портрет царя вывесили, во весь рост в военном мундире. Егор в лавчонку за солью шел, засмотрелся. А окопник один, он еще до конца войны по ранению вернулся, говорит: «Чего глядишь? Недолго осталось этому дураку властвовать. Скинем!»

А позже еще и не того наслушался. Тот же окопник стишки принародно читал. А у Егора память редкостная. И как не запомнить, ежели уж шибко складно получалось. На манер сказки «Конек-Горбунук», какую Егор в детстве слышал.

Во дворец толпа идет,  
Правды требует народ.  
Царь, что скатерть, побледнел,  
На чердак бежать хотел.  
Заметалася царица,  
Как подстреленная птица.  
— Ты не бойся, наш властитель,  
Не возьмут твою обитель:  
Я на тех бунтовщиков  
Приготовлю казаков.  
Осмелел тут царь немножко,  
Глянул он в свое окошко  
И велел в народ стрелять,  
Всех рабочих убивать.  
Час, не больше, пролетел,  
Навалили груду тел.  
Заиграл рожок отбой,  
Войско тронулось домой.  
Царь с крыльца к нему сходил  
И работу похвалил:  
«Ой, гвардейцы и донцы,  
Вы, ребята, молодцы!»

Помнил эти стихи Егор, да никому не рассказывал. И сейчас потянул возницу за рукав:

— Слышь, уйдем, а?

Возница отмахнулся:

— Куда тебе поспешать?

— Они супротив государя.

— А тебе чего? Стой.



Егор знает — чего. Бунтовщики-то, почитай, каждую неделю на большаке кандалами звенят. В остроги идут да на каторгу...

Нет, подобру-поздорову отсюда не уйти! Это Егор понял через минуту. Поднялся один старый рабочий и спокойненько этак:

— Мы — пимокаты, шубники, веревочники, требуем удалить из залы полицейских и жандармов.

Народный дом в сотню глоток заорал:

— Вон — полицию! Жандармов — вон!

Такого Егор еще не видал: полицейские в серых мундирах, трусливо оглядываясь, пробираются к дверям. За ними поспешает кое-кто из чистой публики. И пожилой офицер, тот самый ротмистр с нарядной женой, тоже к двери идет. Жена, видать, шибко осерчала — машет руками.

На сцене уже оратор. Шустрый такой крепыш. Непонятные слова произносит: «конституция», «манифест», «демократия», «свобода».

И все дарованное. «Конституция дарованная», «свобода дарованная». Но кто-то озорничать начал: «Долой этого оратора! Пушай сторожем в полицию найдется, царские подарки сторожить!» Сменил его все тот же сухорукый. Этот, как дошло до Егора, с тем шустрым крепышом был несогласный. Егор сразу понял — мужик не туда гнет. По его выходило — никто никому ничего не дарил. Ну, пускай не дарил, может, и так. Но он заявил, что царь перетрусил, рабочих боится. И девятого января приказал стрелять с перепугу и от зложелательства. Тогда еще там, в столице, один рабочий приподнялся на красном снегу и выкрикнул: «Ну, Николка, теперь посчитаемся!» Царь и боится расчета-то, боится стачек, крестьянских бунтов, боится рабочих и крестьян.

Егор хотя и был напуганный, вслух рассмеялся.

— Чего опять? — спросил возница.

— Слышь, царь нас страшится! Бухнет тоже. — И снова заторопился: — Давай, поедем отседова. Припутают ишшо...

Возница сердито отвернулся. А эти ораторы так и сыпались, как грибы из лукошка. Один крепко запомнился Егору. Это был очный свидетель — флотский с Черного моря. Горласто шумел. Все про «Потемкина». Егор и раньше краем уха слышал про этот корабль. А сейчас матрос рассказывал, как на броненосце взбунтовалась команда, зарестовали офицеров, посадили по каютам. Самых ненавистных рукоуев скинули в море.

— А тут, — голос матроса ликовал, праздновал, — входит в одесский порт, где стоял «Потемкин», посыльное судно «Веха». Офицеры туда-сюда, что, дескать, вытворяется на «Потемкине», а матросня не лаптем щи хлебает, разом смекнула, что вытворяется, ежели на флагштоке красное полотнище. Запирают офицеров под замок, присоединяются к восставшим.

Зашумела, забила в ладоши зала.

А флотский уже хриплым от волнения голосом не празднует, тоскует.

Адмирал получает приказ потопить «Потемкина», уничтожить его команду, и эскадра движется в Одессу.

И снова ликует морячок: не тут-то было! Революционных матросов за рупь, за двадцать не возьмешь!

Грозная стоит эскадра. Пять броненосцев, минный крейсер, семь миноносцев. Каждый корабль блестит, как чертов глаз. А против этой силищи один «Потемкин» с миноносцем. Снимается броненосец с якоря и идет по фронту. На него пушки нацелены, дула чернеют. Он идет.

Море синее с небом сливается. Тишина. «Потемкин» тихим ходом идет по фронту туда-обратно. Все это после прозвали «немой бой».

Будто хорошую сказку рассказывал матрос. И Егор поймал себя на том, что он со всеми этими людьми в Народном доме, и с этим гор-



ластым морячком, и с теми, которые захватили корабль, словно бы заодно. И ему шибко хочется, чтобы матросы с «Потемкина» победили.

Ораторы сменяют один другого. А парень в студенческой тужурке (в такой тужурке в Гоньбу кулацкий сынок на охоту приезжал) обходит народ с шапкой в руках. Люди жертвуют деньги на оружие. Со сцены несется: «Пора создавать свою боевую дружину!» «Пора готовиться к боям!»

Сызнова встает усатый мужчина, какой объявлял, что спектакль не будет:

— Довожу до сведения всех: на вооружение нашей боевой дружины собрано двести девяносто три рубля.

Зал встает, все хлопают в ладоши, кричат «ура!»

И тут случилось такое, что Егор уже не мог оставаться на месте. Тот же студент притащил небольшую лесенку и снял со стены царскую персону. А рабочие еще орут:

— Долой Николашку!

— В сортир его!

— Там ему место!

Егор вознищу за плечо тронул:

— Ты как хошь, а я пошел.

Но со сцены кто-то крикнул:

— Товарищи! Есть предложение устроить ночную демонстрацию!

Народ повалил к выходу. Когда Егор с возницей выбрались на улицу, люди уже становились в ряды. Матрос-черноморец развернул красное знамя, скомандовал:

— Боевая дружина, вперед!

Из толпы выделилось два десятка человек. Окружили знамя.

Высокий чистый голос запел:

Отречемся от старого мира,  
Отряхнем его прах с наших ног,  
Нам враждебны златые кумиры,  
Ненавистен нам царский чертог.

Песню подхватили, высоко взметнувшись, она поплыла по морозному вечернему городу.

Возница вскочил в сани.

— Едем.

— Куды едем-то? — переспросил Егор. — С ними, что ль?

— В «Обь». Ресторан-то «Обь» называется. Ты что, вывески не видал?

— Неграмотный же я...

В ресторане на этот раз было многолюдно. Внизу на вешалке, которую раньше Егор и не приметил, теснились шубы. Вверху через открытую дверь были видны люди за столиками.

Возница велел Егору подождать, сам зашел в боковушку. У Егора голова еще сильнее, чем утром, кружилась от голода. Ноздри жадно ловили запахи еды.

## 2.

Еще вчера Егор мечтал хотя бы дожевать какую корку, оставленную на столе, а сегодня он накормленный, одетый почти как сам официант, стоит в дверях и почтительно кланяется приличным посетителям, а ежели припрется какой босяк, то может дать ему от ворот поворот. Вот он кто нынче, Егор! А помог Кузьма Прокопьевич...

Вчера возница, побыв с полчаса в боковушке, поманил туда Егора. Кузьма Прокопьевич сидел все на том же диване, только столика перед ним не было. Встретил он Егора приветливо, совсем не так, как



проводил. Сказал, что Егор молодец, что этим ящиком с несъедобным киселем он поможет верным слугам царя изловить закоренелых смутьянов. И, приметив раскрытый рот Егора, прибавил:

— Это, братец, не кисель. Это целый компот.

И человеком Кузьма Прокопьевич оказался щедрым. Велел сызнова вкатить столик с мясным борщом, с кашей, с горой хлеба на тарелке. И когда Егор все это умял, засмеялся и попросил принести еще. Официанту сказал:

— Запиши на мой счет, Василий... Васильевич.

Егора спросил:

— Ты где проживаешь-то? На берегу под лодкой? Холод, поди, продирает?

Егор кивнул.

— Взять бы его в ресторан на службу, — обратился Кузьма Прокопьевич к официанту. — Сам видишь, как уплетает, он и работать будет соответственно. Примета верная.

Официант согласился, что неплохо бы. Да только работников у них хватает.

Кузьма Прокопьевич все стоял на своем. Хватает у вас, да не этих. Парень неиспорченный, никакой пакости еще не набрался. В царя-батюшку верит. Такие на дороге не валяются...

— Ладно. Иди на кухню покуда. Там повар тебе покажет, где дров поколоть, — распорядился Василий Васильевич.

А после и обрадовал Егора. Дескать, останешься у нас.

Удачливый все же Егор. Состоит теперь при должности. А за добро барину век готов служить.

Обеденный народ из залы уже схлынул. Два старичка-официанта со столов убрали. Василий Васильевич на счетах постукивал. Нежданно отворилась неприметная дверь, и оттуда вывалились пять или шесть господ. Видать, дверь-то была от потайной комнаты. А люди все осанистые. Костюмы на них дорогие, наверно, аглицкого сукна. Через животы золотые цепки висят, на пальцах перстни сверкают, в галстуках — булавки с дорогими камнями. Между ними и Родион Силыч. Василий Васильевич всех их провожает, каждому кланяется, просит не забывать, заходить. Они ему деньги суют.

А Родион Силыч денег не дал. Сказал одно слово:

— Сюда.

Василий Васильевич его мигом понял. Подвел к столику и поспешно стал подавать. Зашел еще барин какой-то с женой, али, может, с ухажеркой, как здесь говорят — с дамой.

Сразу после них новый барин вплыл важно. Высокий, собой красивый. Егор тоже каждому кланяется. Еще ниже норовит, чем Василий Васильевич.

К важному Василий Васильевич-то сам подошел.

— Карту! — Это барин капризно так сказал. Будто что-то ему не глянется.

— Нуте-с... Рябиновой на коньяке... В графинчик нальешь. Осетрина... С хреном найдется?

— У нас все найдется.

— Похвально. Пойдем далее. Икра паюсная? А салфеточная имеется?

— Сыщем и салфеточную.

— Постарайся, братец. Так-с. На первое солянку... Нет, это тяжело. Разве рыбную. Давай, братец, на рыбной остановимся. Рекомендуешь?

— Рыба свежая.

— Прекрасно.

— Лангет. Соус пекан, надеюсь?

— Как прикажете.

— Пусть будет пекан. Скажи повару, братец: сумеете накормить, и повара не обижу. Ну-с, еще рулетик промантье... И сладкое, братец, на твое усмотрение.

Василий Васильевич все записал маленьким своим карандашиком, но от барина не отходил. Тот глянул недовольно:

— Все, братец. Я бы попросил порасторопней.

А Василий Васильич наклонился к нему и этак негромко, однако на всю залу слышно:

— Деньги вперед-с.

— Чего? — оторопело переспросил барин.

— Деньги вперед-с, — повторил Василий Васильич.

Барин заволновался, даже со стула вскочил. Это что за порядки такие? Это оскорбление личности. Позвать сюда немедленно хозяина.

А Василий Васильич снова этак негромко, но всем слышно:

— Сей бы момент позвал-с, но хозяин в отлучке-с.

Барин закипятился еще больше. Да представляют ли эти невежды с кем говорят? Он — артист.

Живого артиста Егор никогда не видел. Воззрился на него, как на чудотворную икону. А тот бумагу какую-то разворачивает.

— Видишь, афиша. А это мой портрет. В Риме снимался. Личным гостем папы римского был. Везде принимали и денег вперед не требовали.

Это артист произнес громко, не только для одного Василия Васильевича. Видать, искал и у других подмоги. Но Родион Силыч на него даже не поглядел. Тянул потихоньку вино и другой барин.

Василий Васильевич стал читать афишу. «Едет, едет Его Макс — прославленный в Европах азиатский научный факир и великий фокусник, победитель конкурсов в Париже, Берлине, Будапеште, Бухаресте, Риме, Ницце, Стамбуле, Пекине и Харбине. Мастер непонятных явлений, основанных исключительно на черной магии, а также искусстве и проворстве».

— Здорово! — похвалил Василий Васильевич и, наклонясь к артисту, спросил: — Господин Его Макс, а по карманам можете?

Егор ждал, что гость накинется на просмешника, но тот только сел на свой стул и гордо отвернулся.

Василий Васильевич отошел от него встречать нового посетителя. Этот был длинноволосый, в чудных очках без дужек. Одет в синий мундир с золотыми пуговицами. Стало быть, чиновник.

Василий Васильевич его приветливо встретил.

— Проходите, господин учитель. Всегда рады. Что прикажете, господин учитель?

Новый посетитель вскричал:

— Шампанского! Шампанского, чтобы лилось рекой... И фруктов! Фруктов!

«Новичок тут, — сообразил Егор. — Залихвата из себя строит. Родион Силыч шуметь да по два раза говорить не станет, ему и один-то раз много кажется...»

Не успел оглянуться, а к учителю уже подсел артист. Что-то объясняет негромко. До Егора долетает только: «...импресарио», «импресарио». Ох, и слов тут наслушаешься! «Импресарио несколько подзадержался», «не люблю обременять себя финансовыми заботами...»

А учитель даже вроде чему-то обрадовался.

— О, конечно, конечно! Я рад! Бессребреники мне всегда импорировали! Человек! Закусить господину артисту.

— Как прикажете, — сдержанно ответил Василий Васильевич.

— И горячее, — подсказал Его Макс.

Василий Васильевич вопросительно поглядел на учителя.

— Конечно, и горячее, — закивал тот, тряся длинными волосами. Чокаясь с артистом, учитель объяснял: он вообще-то не пьет. Но



сегодня такой день, такой день... И опять Егор услышал теперь уже знакомое: «конституция», «манифест», «даровано».

Всякий раз артист напоминал, что за это надо выпить. Учитель приметно хмелел. Он уже обнимал и целовал артиста, кричал, что он его уважает и любит как брата по интеллекту и единомышленника. Доставал из кармана какую-то бумагу, трясущимися руками подносил к глазам, читал: «Смуты и волнения в столицах и во многих местностях империи нашей великою и тяжкою скорбью преисполняют сердце наше»...

Поднимал указательный палец кверху:

— Каковы слова! Царственность, величавость! А далее! Нет, вы послушайте далее: «Благо государя российского неразрывно с благом народным, и печаль народная — его печаль».

Упоенно повторял: «Его печаль!» Всклипывал: «От волнений, ныне возникших, может явиться глубокое нестроение народное и угроза целостности и единству державы нашей!»

Его Макс, видно, не враг бутылки, соглашался — все правильно, все по-русски, и за сие нужно повторить: «Веселие Руси есть питание!»

Выпили, обнялись, расцеловались. Учитель волосы с потного лба откинул.

— Неприкосновенность личности! Мы этого веками ждали, это звучит для нас возвышенной хоралов Баха!

Не успел Его Макс скрепить это пожеланием: «И за сие нужно повторить», как Родион Силыч пальцем поманил к себе Василия Васильевича. Обронил по своему обычаю всего одно слово:

— Убрать!

Василий Васильевич только спросил:

— Обоих?

Родион Силыч слегка поморщился.

Василий Васильевич тут же все понял. И к учителю:

— Позвольте вам уйти-с.

Учитель сперва потерялся, куда, спрашивает, уйти?

— А это уж куда пожелаете.

— Да в чем дело, наконец? Прошу объяснить!

— Чего объяснять, ступайте, коли гонят.

Учитель на стуле заерзал, длинными волосами затряс. С лица пот прямо в тарелку капает. Кричит: кто имеет право его гнать? Забыли, что теперь свобода?!

— Вот и просим вас на свободу. Прошу-с!

Учитель вскочил. стакан на себя опрокинул. Вытащил из кармана все ту же бумагу. Стекла свои на нос трясущими руками напялил.

— Да вы что, ретрограды! Банкроты мысли! Здесь же черным по белому сказано...

Хотел читать, но Василий Васильевич ловко подхватил его под руку.

— Прошу-с, прошу-с. Вы пьяны.

Учитель вырвался, отпрянул в сторону:

— Не прикасайтесь! Вы раб!

И тут Василий Васильевич кивнул Егору. Душа у Егора не лежала учителя обижать, но надо было отработать харч.

— Пошли, брат, — беззлобно сказал Егор и для верности взял учителя в охапку.

Учитель болтал длинными тощими ногами, кричал одно и то же:

— Не прикасайтесь ко мне!

— Не шуми ты! Чего к тебе прикасаться! — шагая к выходу, урезонивал чудака Егор.

Егор вынес учителя на улицу. Сторонник неприкосновенности укусил его. Егор пригрозил ткнуть носом в сугроб. Но выполнять угрозу не стал, поставил возле крыльца на ноги, а бородатый мужик из раз-

девалки, как его здесь называли, «гардеробщик», выбросил учительские пальто и шапку.

Когда Егор вернулся в залу и встал на своем месте у дверей, он не поверил своим глазам — артист сидел за столиком Родиона Силыча.

— Тоже? — спросил Родион Силыч.

— Понял, — скороспешно заверил артист, — переспрашивать не буду. А профессия моя совсем другая. Впрочем, я сейчас больше по этой части. — Пальцы артиста поплясали по стеклу графина.

— Где?

Артист торопливо развернул афишу. Родион Силыч внимательно прочитал ее. Коротко рассмеялся:

— Многовато.

— Городов-то? Ничего, съедят...

— Фокусы? — спросил Родион Силыч.

Его Макс стал обсказывать, что и впрямь может. Спросил у купца, который час. Купец потянулся за часами и выдернул из кармана только цепочку.

— Успел.

Его Макс вынул часы из своего кармана, с почтением подал Родиону Силычу.

У Егора чуть глаза из орбит не полезли, а купец зевнул.

— Старо. — Стукнул себя по лбу и, наверно, впервые за день, а может, и за много дней, сказал не одно, а десять слов:

— Вспомнил! Тебя на ярмарке били. За другие фокусы. За карточные.

— Я такие эпизоды не стараюсь запомнить!

Купец потянул еще вина, помолчал. Бросил:

— Счет.

Василий Васильевич вырос как из-под земли.

— Пожалуйте-с.

Рассчитываясь, купец небрежно бросил в сторону Егор Макса:

— По-людски?

— Егор Максимович. А Егор Макс — псевдоним, как у людей искусства, — готовно сообщил артист.

«Господи! Тезка», — подумал Егор.

— На мели? — поинтересовался купец.

— От вас, Родион Силыч, таиться не буду.

— Пожалуй... — неопределенно заметил Родион Силыч и направился к выходу. Артист устремился за ним.

— Не прикажете-с ли так понимать, Родион Силыч, что, пожалуй, могу и пригодиться? Служить буду верой и правдой.

Дальше Егор не слышал. В ресторане оставался занятым всего один столик. Старики официанты принялись менять скатерти и салфетки, наливать в графины воду, освежать горчицу, соль — готовиться к вечернему многолюдству.

Через полчаса снова появился Егор Макс. Василий Васильевич сразу же оказался возле него.

— Прикажете рябиновой?

— И балычка. Балычок у вас недурственный.

— Сей момент.

Василий Васильевич кинулся было к буфету, но гость остановил его.

— Деньги-то вперед?

— С вас? Как можно, господин артист. Как можно-с!

И бегом побежал, показывая свое усердие. Но артист снова остановил его.

— Скажи, братец, как ты тогда догадался, что я... того. Без единого пиастра?

Василий Васильевич смущенно помахал полотенцем:



- Не обессудьте, господин артист. По манишке.  
 — А что манишка? — Его Макс, наклонив голову, придиричиво оглядел свой накрахмаленный нагрудник. — Манишка самая модная.  
 — А под ней-с? Под ней-с, извините, голое тело.  
 — А-а!.. — протянул Его Макс. — Тебя, кажется, Василием кличут?  
 — Василием Васильичем.  
 — А ты дока, Василий Васильич. Присядь-ка сюда.  
 Они заговорили тихо, так, что слова не долетали до Егора.  
 Чуть позже Василий Васильевич подозвал Егора.  
 — Будешь служить господину артисту.  
 Артист поинтересовался, какое Егор получал в ресторации жалованье. Об этом Егор ничего не знал, думал, будет служить за один харч.  
 — Кладу тебе десять целкашей, — пообещал артист. И тут же добавил: — Даже пятнадцать...

## 3.

По склонности работать ночью или днем, люди делятся на сов и жаворонков. Но, как ни странно, представители певческой профессии — поэты редко принадлежат к последним. Чаще они, подобно совам, любят бодрствовать по ночам и спать днем.

В этом смысле поэт Иван Голиков составлял исключение. Он вставал рано — в шесть утра. Поэт целиком уходил в свой, одному ему доступный мир. Настолько погружался в него, что, когда кончал работать, другой мир с соседом — конным прасолом и вторым соседом — хозяином свечного завода, с их женами и детьми казался ему выдуманым, а этот выдуманный — настоящим.

У Ивана это смещение возникало не только когда он откладывал в сторону рукопись или переставал мысленно находить и браковать слова и строчки. Нередко не одна комната, но весь город — узкие улицы и переулки с деревянными одноэтажными домами, двориками, огородами, амбарами, конюшнями, с несколькими внушительными толсто-стенными зданиями, оставшимися от давних времен, с развалинами крепостных стен, возведенных для оберега от кочевых, главным образом, джунгарских племен — все это вдруг, ни с того ни с сего теряло реальность. Голиков прочно переселялся в другой мир, в область своих бесконечных фантазий.

Это был дорогой для него мир.

Иван Иванович, возможно, не без оснований считал, что воображение, фантазия в свое время спасли его, помогли ему выжить в детстве и отрочестве, вырваться из того омута, каким был его отчий дом. Об этом особенно четко думалось ему сейчас, когда он писал поэму о своем детстве.

Сегодня Голикову работалось особенно ладно и спокойно. Главное, не нужно было никуда торопиться. Он не связан ни с какой службой. На столе лежал последний вышедший два месяца назад номер газеты «Ежедневные телеграммы», в которой он добывал себе на хлеб. Но этому номеру суждено было сыграть печальную роль. После его выхода издание закрыли.

Иван тосковал по своей газете и знал этот последний ее выпуск на память. На первой странице довольно пространное сообщение Российского телеграфного агентства о том, что произошло «в высочайшем присутствии», «что благоугодно было заявить или предпринять его величеству государю императору». Очень краткая, скупая информация о проигранных боях с японцами. На второй странице — объявления: «Нужна скромная девушка или женщина одной прислужгой. Тут же продаются куры. Дом священника Смирнова, против рощи». «Продается музыкальный инструмент — золиан орган, к нему ноты, а также сруб

семь на девять и корова. Содовый завод Любимова и Сольвэ. Спросить управляющего».

«Требуется швейцар, по возможности грамотный, непременно трезвый».

«Отдается квартира в верхнем этаже, семь комнат, при ней все необходимые надворные постройки: каретник, конюшня на два стойла, коровник, амбар с ледником, сеновал, баня».

Вслед за объявлениями — заметки Ивана Голикова. Происшествия — пожар, кража, драка. Попали сюда и события культурной жизни: «В воскресенье, в 8 часов вечера в Народном доме состоится показ живых картин — «Стрекозы», «Зайчики» и другие. Живые картины поставлены силами работниц канатной фабрики Т. Р. Болдырева».

Вот и весь номер. Все в газете казалось безобидным и верноподанным. Не было на этот раз даже информации о любительских спектаклях. Эта информация всегда вызывала недовольство местного цензора. «Подбор пьес у вас какой-то... — морщился он. — Впрочем, по нынешним временам каждый писатель норовит что-нибудь крамольное вывести».

Однако именно этот номер погубил газету. Сыр-бор разгорелся из-за небольшой заметки. Редактор-издатель Павел Поликарпович Ребров объявил, что с этого номера «для удовольствия читателей» вводится раздел юмора. И напечатал в этом разделе маленькую арабскую притчу. Некий шах застал на своем троне важно восседающего шута. Шах прогнал его, слегка поучив тростью. Шут горько заплакал. «Перестань притворяться, — приказал самодержец. — Я бивал тебя и посильнее». Но шут продолжал горько плакать. «Разве я о себе? Плачу о тебе, повелитель. Я посидел на троне десять минут и то получил по шее. А ты сидишь одиннадцатый год! Что же с тобой будет?»

Притчу можно было принять за обычную шутку. Но император Николай Второй воцарился в октябре 1894 года и сидел на троне как раз одиннадцатый год.

Некоторые полагали, это случилось случайно или по недомыслию, что кто-то из сотрудников подсунул Павлу Поликарповичу эту взрывной силы сказку. Однако Иван-то знал, что Ребров сделал это сознательно, так как предусмотрительно почти в три раза увеличил, против обычного, тираж этого номера газеты. Да и подсунуть ему никто не мог. Иван Голиков являлся единственным его сотрудником.

Правда, над столом у редактора красовался список господ сотрудников и корреспондентов, долженствующий внушать немногим посетителям мысль о солидности предприятия. В списке значилось двадцать с лишним душ, точнее, мертвых душ. Все эти фамилии появились в газетке под материалами Голикова или самого издателя.

Закрыв газету, лишился Ивана его скромного заработка. Нужна была другая работа. О журналистике пришлось забыть. За всю почти двухвековую историю города «Ежедневные телеграммы» были единственным периодическим изданием.

Подчас Голиков злился на Павла Поликарповича. Черт бы его взял с его политическими убеждениями! Поставил под удар газету.

Но в свои святые рабочие часы поэт мысленно благодарил редактора-издателя за его смелый выпад. Деньги у Ивана еще были. На крайний случай он мог вспомнить науку, какую преподавал отец. Он мог стеклить окна, класть печи, сапожничать, катать валенки, исправлять часы. Трудно тому, кто не знает ремесла. А Иван с голоду не помрет и поэму напишет.

Не быстро, но уверенно поэма двигалась вперед.

Однако сегодня поработать внаглую не удалось. Стук в дверь прервал уединение Голикова. Не очень любезно спросил:

— Кто там?

Из-за двери послышалось знакомое покашливание.



— Ребров? — удивленно спросил Иван.

Войдя в комнату, издатель скупно улыбнулся:

— Чему вы удивляетесь? Бывший редактор решил навестить своего сотрудника.

— Пожалуйста, пожалуйста, — спохватился Голиков. — Проходите, Павел Поликарпович. Я очень рад.

Иван и вправду обрадовался: видно, газету разрешили вновь. Иначе для чего бы Ребров явился к нему, да еще в такую рань.

Худой, с болезненным румянцем на впалых щеках, издатель бегло и цепко оглядел небогатое убранство тесной комнаты, чуть внимательнее стопку книг на вместительной, скомбинированной из фанеры этажерке и остановил взгляд на поэте. Будто изучал его рослую фигуру, скуластое калмыковатое лицо. Сказал совсем не то, что ожидал услышать его недавний подчиненный.

— Хочу попросить — разговор, вне зависимости от его исхода, конфиденциальный.

Голиков кивнул, считая эту часть исчерпанной. Однако Павел Поликарпович продолжил: он доверяется Ивану Ивановичу только потому, что более двух лет знает его по совместной работе, знает его скромность и порядочность.

— Благодарю вас, — сказал Иван, понимая, что для такого немногословного человека, как Ребров, прелюдия слишком велика, и ломая голову над тем, какова же будет суть. И здесь Павел Поликарпович ошеломил своего слушателя. Он хочет, чтобы Голиков ненадолго приютил у себя одну барышню под видом невесты.

— Но у меня нет никакой невесты, — растерялся Иван.

— Вот и хорошо... То есть для данного случая.

Опомнившись, Иван сказал: он понимает, девушка из политических. Но почему ей жить у него, не лучше ли снять квартиру?

— Не лучше, — объяснил бывший издатель. — Время сейчас такое, что о любом новоприбывшем, особо если он снял квартиру, хозяевам велено докладывать в околоток, а барышню и без того могут искать.

— Да, но после царского манифеста объявлена амнистия, политических из тюрем выпускают. Чего же ей бояться.

Издатель невесело улыбнулся:

— Вы всегда были наивным человеком, Иван Иванович. — Не желая обижать Голикова, добавил: — В некоторых вещах.

Иван высказал еще одно сомнение:

— Как же невеста до свадьбы придет к жениху?

Ребров успокоил его. Он давно заметил, что Иван Иванович несколько старомоден. У современной молодежи нравы попроще. И невеста может прийти, и даже чужая жена.

— Не слишком комфортабельно у меня.

На это Павел Поликарпович даже не обратил внимания. Посоветовал: как только появится квартирантка, найти предлог сходить к кому-либо из соседей, ну, например, посуду какую-нибудь попросить или деньги разменять и попутно объяснить — невеста приехала, чтобы не было недоумений, не подумали — Голиков что-то скрывает.

— И не с таким лицом! К вам же невеста приехала, а не теща. — Павел Поликарпович позволил себе второй раз на протяжении визита улыбнуться. Продолжал деловито: — Невесту зовут Анастасия Савельевна. Для вас — Настенька. Она из Новониколаевска. Учительница французского...

Ушел, оставив Ивана обдумывать неожиданную ситуацию. Следовало все-таки отказать. Голиков, как человек, изведавший изнанку жизни, пробившийся из низов, сочувствовал социал-демократам. Но свою главную жизненную задачу Иван Иванович видел в служении поэзии. Правда, он был не из тех литераторов, которые определяли



подлинность поэзии степенью ее отдаленности от будничной жизни, от серой повседневности и утверждали, что она не должна служить утилитарным целям, как бы значительны они ни были, а предназначена лишь для исканий извечных красоты и гармонии. Однако считал, что поэт должен беречь себя для своего главного предназначения. И когда однажды типографские рабочие предложили ему принять участие в забастовке, он наотрез отказался: «Забастовки проходят, а стихи остаются».

Сейчас он корил себя за уступчивость и мягкость. Следовало твердо сказать, что не может рисковать своей работой. Ведь никто не знает, чем это обернется. Возможно, даже и тюрьмой. Да и другое огорчало Ивана. Он не считал политическую борьбу делом женским. Ему казалось, что, приобщаясь к политике, женщина теряет свое прекрасное предназначение, утрачивает чистоту, тайну женственности, обаяние. В свои права вступала писательская фантазия. Иван уже видел, как в его обитель бесцеремонно ворвалось существо стриженое, костистое, угреватое, очкастое и, дымя папиросой, разводит политические дискуссии, учит его бороться за свои идеалы.

Как писать в такой обстановке? В лучшем случае, придется вычеркнуть из жизни несколько дней, а, возможно, и недель. Дурак, он даже не спросил, на какой срок прибывает эта неведомая жилища!

Но когда она явилась, Иван ахнул: «Господи, подснежник!» Во все глаза уставился на девушку. Она так же смотрела на него изумленно и, как показалось Ивану, радостно.

Воскресли все детали давней и мимолетной их встречи. Майским вечером Иван возвращался с работы по Озерной улице. Собственно, улица официально называлась Томской, Озерной ее прозвали горожане. С весны до поздней осени на ней не просыхала огромная лужа — целое озеро. Перейти лужу можно было только в высоких сапогах. Обычно возле нее стоял извозчик, который за пятак перевозил с одной стороны на другую.

На этот раз извозчика не было. Возле лужи Иван увидел девушку в голубоватой блузке. «Подснежник», — неутомимому воображению Ивана от этого слова повеяло голубизной, незащищенностью, свежестью и весной.

Девушка в нерешительности теребила тяжелую русую косу, опасно оглядывала скопление застойной воды. Доверчиво посмотрев на Ивана снизу вверх, спросила:

— Как же тут перебираются?

Голиков быстро разулся, подогнув брюки, взял незнакомку на руки. Легко преодолевая кочки и рытвины на дне, понес через лужу. Незнакомка не противилась и даже не удивилась. Казалось, она была уверена, что этот парень должен помочь ей. Испытывая неловкость за свой город, оправдывался: вообще-то у них не так уж много грязи, больше песку, за это город даже именуют Пескоструйском. Грязь только здесь, в болотистой Зайчанской части.

— Почему Зайчанской? — удивилась девушка.

Иван объяснил. Из России от малоземелья в Сибирь бегут переселенцы. Но приписаться к сельской общине не так-то легко: нужно и водку поставить, и деньги немалые заплатить. Вот некоторые из тех, кому это недоступно, и селятся на окраине города «зайцем», как незаконные застройщики.

Бережно опустил девушку на землю. Хотел спросить, как ее зовут, кто она, где ее можно найти, но только молча поклонился и побрел по воде обратно. И не раз потом ругал себя. Надо же быть таким идиотом! На руки взять не побоялся, а имя спросить оробел. Чего проще было предложить: «Не пора ли познакомиться? Я такой-то, а вы?» Вместо этого краеведческими сведениями ее пичкал.

Много событий произошло за эти месяцы. Заключили, наконец,



после многих поражений позорный Портсмутский мир с Японией. И все время Россию лихорадило: забастовки, столкновения с полицией, крестьянские бунты. И сам он успел остаться без работы. Все это, однако, не заставило Ивана Ивановича вычеркнуть из памяти мелькнувший мимолетным видением «подснежник». Проходя мимо, он с наивной надеждой поглядывал на кромку «вечной лужи». Вдруг где-то здесь стоит эта девушка! Ее не было. Зато торчал извозчик на дрожках, запряженных низкорослой клячей.

Ивану казалось, что девушка сейчас упадет от стеснения. А он, Иван, стоит телеграфным столбом. Надо же что-то сказать! Девушка все-таки опередила его. Застенчиво, с запинкой произнесла:

— Меня зовут Настя... А я вас... узнала! Значит, спасаете меня... во второй раз!

Голиков помог Насте снять пальто. Всегда равнодушный к мелочам быта, в этот миг он остро пожалел о бедности и неуютности своего жилья. Но Настенька (как он мысленно ее называл), казалось, не обратила на это никакого внимания.

Через несколько минут они уже сидели возле пытящего самовара за покрытым клеенкой, служившим и письменным и обеденным столом. Было в этой девушке, почти девчонке, что-то очень чистое, домашнее, располагающее к естественности и простоте. «Хорошо, когда такая рядом», — подумал Иван.

Преодолевая стеснительность, Настя открыла причину своего появления. Она считала — Иван должен знать эту причину, поскольку он рискует, поселив ее у себя.

Поначалу Голиков больше слушал, любовался ее безыскусственностью в общении, чем вникал в суть. Но потом заинтересовался ее рассказом. Девушка в этом городке всего второй раз.

— Первый, помните когда... — Настя приостановилась, смущенно продолжала: — Я потом долго казнилась. Что вы обо мне подумали!..

Иван искренне удивился. Что он мог подумать? Разве можно о ней подумать плохо?

— Очень тогда спешила на явку.

А сейчас, во второй раз, она намерена была остаться здесь надолго. На работу еще не устроилась. Поселилась у одного чиновника. Он ведает лесными угодьями и часто в поездках по деревням, его жена много времени проводит у своей матери. Квартира удобна для кратких встреч с товарищами. И, кроме того, на кухне Настины единомышленники устроили тайник, где хранили литературу и даже оружие. Это было сделано в одно из воскресений, когда хозяева уезжали на пикник. Вчера под вечер чиновник с женой ушли в церковь, оставив на попечение Насты свою маленькую девочку. «Пожалуйста, посмотрите за ней, Настенька, если ребенок проснется до нашего прихода». Не успели они уйти, как наблюдавшие за домом подпольщики принесли гектограф. Настя собиралась спрятать его в тайнике, когда вдруг проснулась и заплакала хозяйская девочка. Настя бросилась к ней. Успокоила ее, буквально через пять минут вернулась на кухню, но гектографа уже не было.

— Кто проник на кухню, чьи это проделки — непонятно. Скорее всего, жандармские фокусы.

Последнюю фразу и особенно «жандармские фокусы» Настя произнесла тоном весьма опытного человека, видимо, не только повторяя чью-то мысль, но и интонации.

— Скорее всего, упражнения жандармов, — согласился Голиков и снова вернулся к тому, о чем спрашивал издателя: — Но ведь издан манифест. Свобода слова.

— Не очень-то вы этому верьте, — нахмурилась Настенька.

Лицо девушки стало суше. Рот отвердел. Вот, оказывается, какой

может быть Настенька, что так славно, по-домашнему пьет чай с ежевичным вареньем. — У нашего самодержца семь пятниц на неделе.

Иван кивнул. Вспомнилось, что однажды рассказывал о царе издатель Ребров.

Появляется в царском кабинете кнутобоец Трепов, о котором даже ярые монархисты говорят, что он вахмистр по образованию и погромщик по убеждениям. Настаивает на непреклонной, самой жестокой политике. Царь заявляет: «Я с вами согласен!» Его сменяет граф Витте. Советует противоположное: лавировать, дав народу видимость свободы. Царь опять: «Я с вами согласен!» Императрица, которая вмешивается во все государственные дела, возмущена: «Ники! Как вы можете соглашаться с тем и с другим. Нужно выбрать что-нибудь одно». — «Я и с тобой согласен!» — отвечает царь.

— Трон облепили доморощенные Макиавелли, — продолжает между тем Настенька. — Они в политике моральных ценностей не признают. — Тонкая Настенькина рука с розовыми по-ребячьи коротко остриженными ногтями метнулась в одну сторону: — Народу — манифест, — и в другую: — Недреманному оку — шпионить, как только его примут. И вообще — шпионить, шпионить.

Голиков глядел на Настеньку, и фантазия нарисовала ему жуткую картину. Настенька на допросе у жандармского ротмистра. Грузный, глухой на левое ухо, ротмистр восседает чуть в профиль, правым боком к девушке. Седоватые его усы самонадеянно топорчатся.

— Понимаю психологию юности. Конечно, постарел, но не настолько, знаете. Мохом еще не покрылся. Сам читаю с восхищением и Чернышевского, и господина Плеханова, и кумира вашего Максима Горького. «Безумству храбрых поем мы песню». И все такое прочее. Он, помимо всего, прозорливый человек, Максим Горький. Да-с, весьма прозорливый. Пред событиями девятого января изволил с делегацией демократической интеллигенции столицы побывать у председателя кабинета министров графа Витте. Граф заметил: «Мнение правящих сфер непримиримо расходится с вашим, господа». А Горький ему в ответ: «Мы и предлагаем довести до сведения сфер, что если завтра прольется кровь — они дорого заплатят за это». И что же-с, прав оказался. Вот-с, мы и ищем путей обуюдоприемлемых, без кровопролития.

А Настя слушает с тем самым непреклонным и презрительным выражением, какое только что мелькнуло на ее лице.

Видение исчезло. Но тревога за ее юношеский максимализм осталась.

Смело, друзья! Не теряйте  
 Бодрость в неравном бою,  
 Родину-мать защищайте,  
 Честь и свободу свою.  
 Пусть нас по тюрьмам сажают,  
 Пусть нас пытаются огнем,  
 Пусть в рудники посылают,  
 Пусть мы все казни пройдем...

Песня ворвалась в открытую форточку подтверждением мыслей Ивана. Голиков осторожно откинул край занавески. За окном двигалась огромная толпа народа, колыхались красные флаги, полотнища с надписями: «Долой самодержавие!», «Да здравствует демократическая республика!», «Да здравствует вооруженное восстание!»

Иван, как репортер, не раз обошедший предприятия, учреждения, бывший во многих домах, узнавал грузчиков, пимокатов, шубников, приказчиков, кустарей, домашнюю прислугу. Среди их полущубков, стеганых курток, армяков мелькали шинели чиновников, учителей реального училища и женской гимназии, форменки реалистов. На чью-то могучую спину взобрался живописный бородач без шапки, с развевающейся на ветру шевелурой.



«Да это ж Стремжицкий, ссыльный поляк!» — с удивлением узнал Иван. Сигизмунд Эдмундович ходил к свечному заводчику учить его детей музыке. Тихий, сгорбленный. А сейчас...

— На царскую милость мы ответим только штыком, только пиком! — доносились слова Стремжицкого.

Толпа ему аплодировала.

— Правильно! Правильно! — возбужденно шептала Настя.

Демонстрация двинулась дальше. Мимо окна проплыл другой оратор. Он стоял на скрещенных руках своих товарищей.

— Хочется туда! — мечтательно произнесла Настя.

Иван не успел ответить, раздался сильный стук в дверь. Он инстинктивно загородил собой девушку. Но когда откинул крючок, чуть не вскрикнул от удивления:

— Настенька! Это господин Стремжицкий!

— Да, да, — ответила Настя. Бледность медленно сходила с лица. Порозовели щеки, сделалась мягче линия подбородка.

— Моя невеста, — поспешно отрекомендовал Иван.

Поляк едва кивнул девушке и безапелляционно приказал:

— Вместе с нареченой на улицу! В такие минуты сидеть в четырех стенах! Разве Байрон сидел дома, когда патриоты даже не его, а чужой, страны восстали против иноземного ига? Разве Пушкин не вышел бы со всеми друзьями на Сенатскую площадь, будь он в то время в Петербурге? — Сигизмунд Эдмундович все больше входил в раж. Яростно жестикулировал, комкал бороду, кричал так громко, будто все еще находился на площади, а не в маленькой комнатке.

— Господин Стремжицкий, выпейте чашку чая.

— Что вы мувите! — путая русскую речь с польской, воскликнул старик. — Какое может быть чаепитие в такой час?

Сигизмунд Эдмундович достал из кармана конверт.

— Вот мне прислали вядомощь.

Читал он не так, как говорил — без аффектации, и это еще больше усиливало скорбную, проникновенность народной петиции: «Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся, как к рабам, которые должны терпеть свою участь и молчать. Мы терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества, нас душил деспотизм и произвол, мы задыхаемся. Нет больше сил...»

— Как можно остаться в стороне! — вскричал Стремжицкий. — Вам, поэту?

— Ну, я еще не поэт, — возразил Иван. — Только стремлюсь быть им.

— Тем более, — горячился Сигизмунд Эдмундович. — Тем более!

Но у Голикова на сей счет было твердое мнение. Окажись Пушкин на Сенатской площади, куда он так стремился, русская словесность не досчиталась бы «Полтавы», «Медного всадника», «Маленьких трагедий», «Повестей Белкина», «Дубровского», «Капитанской дочки», многих глав «Евгения Онегина»... Вероятно, это понимали друзья поэта — декабристы.

— Однако!

«Однако» принадлежало Насте. Брови ее комически приподнялись.

Голиков нахмурился:

— Это вы напрасно. Я отстаиваю только принцип.

— О! Талант надо беречь, — согласился Стремжицкий. — Но есть нечто выше таланта.

Голос старого поляка погрузнел. Он сам когда-то мечтал стать не только учителем музыки. Ведь он — композит. Однако судьба забросила его в тот край, где нет консерваторий. И, вероятно, они не скоро появятся. Что ж, Сигизмунд Эдмундович не жалеет об этом.

— Есть нечто выше, — повторил старик.



— Во имя этого и надо беречь талант, — стоял на своем Голиков.

— Однако Пушкин, — возразила Настя, — потому и стал Пушкиным, что хотел быть на Сенатской. Так что талант беречь нужно, а вот нужно ли таланту беречься...

Стремжицкий впервые с интересом посмотрел на девушку. А Иван подивился, как крепко сидит в ней эта социальная закваска. Впрочем, чему удивляться — не она первая. Иван не раз слышал, что в их городе какие-то гимназистки вместе с реалистами проводят беседы в рабочих кружках — у пимокатов, шубников, у речников в затоне. Создали подпольную библиотеку и распространяют сочинения Маркса, Плеханова и нового большевистского вождя Ленина. Да, разве мало теперь этих юных революционерок развелось? Вера Засулич, которая в Трепова стреляла, двадцати лет уже в литовском замке томилась... Фанатички, одержимые фанатички. И хрупкий этот подснежник, тоже одержимая.

— А ведь невеста-то ваша права. Совершенно права, — снова воспламенился Сигизмунд Эдмундович. — Великое рождается лишь через валку. Какая симфония чудилась мне сегодня, когда я шел в толпе!

— Блажен, кто верует, тепло ему на свете! — раздумчиво заметил Голиков.

— Вы... не верите в революцию? — изумленно спросил поляк.

Голиков не любил безбрежных споров, этого пристрастия интеллигенции. Ответил больше Насте, чем Стремжицкому. Отобрать власть у чинуш и дураков, по его мнению, не так уж сложно. Но что будет дальше? Хватит ли энтузиастов и идеалистов, достаточно ли будет на нашей земле святой веры, самоотреченности, бескорыстия, духовности, чтобы перестроить жизнь? Подготовлена ли Россия к этому нравственно?

Голиков увлекся. Видно, не раз задумывался обо всем этом. Мальчишкой двенадцати лет он пришел работать в пимокатную. Определили в стирушку учиться катать пимы. Работают там с темна до темна. Жара, как в бане. От котлов пар валит. Вокруг ничего не видно. Слышно только, как люди хрипят, кашляют, ругаются. Жили тут же, только не в стиральной, а в закладочной. Спали на полу, подстелив свою одежку. И был у него товарищ Мишка Курмачев. Вместе с ним получали оплеухи от мастера, часто возмущались, как много заставляют работать, как плохо кормят. Кажется, больше всего на свете ненавидели хозяев — братьев Кузнецовых.

— А недавно, — неожиданно закончил Голиков, — был я в этой мастерской по службе корреспондента. Теперь это не мастерская, целый завод. И кто, вы думаете, хозяин? Мишка Курмачев. Только нынче он уже не Мишка, а Михаил Феофанович. И рабочим у него приходится не лучше, чем у Кузнецовых. Малолеткам затрещин не только мастер, сам хозяин не жалеет. Даже при мне одного огрел...

— Что же из сего вытекает? — живо поинтересовался Стремжицкий.

— Подумайте.

— А хозяев при социализме вообще не будет, — снова встряла Настя.

«Настропалили невесту-то мою...» — подумал Иван. Спросил:

— Кто же будет руководить производством?

— Директор будет, заведующий, распорядитель.

— Ну что ж, трудно с вами спорить. Вы все знаете, — развел руками Голиков. — А все ж таки замечу, что и заведующий этот, и директор может оказаться таким же Мишей Курмачевым.

— Художническая манера мыслить, — запальчиво возразил Стремжицкий. — Каждый факт превращать в теорию.

— Не факт, а факты, — поправил Иван. Он помолчал. — Я, конечно, в этом мало понимаю, но боюсь, не выступят ли наружу то же



стяжательство, та же тяга к накопительству, те же эгоцентризм и равнодушные к ближнему, только на ином фоне. Как старые прочные краски выступают на полотне, на котором давно уже новый рисунок.

Стремжицкий хотел было что-то возразить, но Иван продолжал:

— Не лучше ли поначалу нравственно подготовить общество к таким кардинальным переменам. А то ведь вы кровью своей, жизнями своими власть завоюете, а они, Мишки эти, все так повернут, что и завоеванного не узнаете и за что боролись, не поймете. Вроде бы и то будет, а на самом деле ничего похожего.

— Не случится такого, — вскопчил Стремжицкий, — потому что мы воспитаем нового человека. И еще потому...

Почему еще, Ивану и Насте так и не удалось узнать. Дверь отворилась без стука. В комнате нежданно-негаданно появилось новое лицо.

Голиков едва не вздрогнул от грозной неожиданности. В молском, красноносом старике он узнал известного всему городу Фильку. Филька — кличка от слова филер. Впрочем, бытовала и другая кличка — Филька-Дракон. Она шла не от принадлежности старика к хищному аппарату принуждения. Филька был легендой города. Утверждали, что он приехал сюда, отбыв полтора десятка лет в Нерчинской каторжной тюрьме. Приключилась с ним какая-то жестокая болезнь, требующая хирургической операции. Явившись в хирургическую палату, бывший каторжник поразил врача и сестру замысловатой татуировкой. На груди у него красовался огромный, мастерски выколотый дракон.

Перед операцией пациент сделал врачу напутствие:

— Ты мне гляди, варнак, дракона не повреди.

Так по вине словоохотливого врача, рассказавшего эту историю своим друзьям, за мужиком и утвердилась кличка Дракон.

Каким образом и когда Дракон превратился в филера, это остается секретом жандармского отдела. Но самую деятельность Фильки скрыть в маленьком городке оказалось труднее. Впрочем, Дракон и сам не скрывал этого. Горожане знали к тому же, что у него нос, какому может позавидовать любая лягавая с верхним чутьем. И ежели Филька-Дракон на чей след напал, тот от него не уйдет. Другой колленкор, коли сам Дракон этого захочет. Такие случаи тоже бывали...

— Ты чего ж заново нарушаешь? Пользуешься, поселенец, что я уговорчивый человек.

У Ивана отлегло от сердца. Филер адресовался к Стремжицкому. Вторая сегодня ложная тревога! Ну, хоть слава богу, что ложная...

— Чего нарушаешь? — наседал филер.

— Я вам не поселенец, — высоким обиженным голосом вознегодовал Сигизмунд Эдмундович. — И сколько раз я прощил вас не тыкать! — Обернувшись к Голикову, добавил: — Не познакомил вас. Мой личный шпион, таскается за мной всюду.

— Будешь таскаться, ежели служба такая, — проворчал старик.

— Видите, дикость! Человечество разумом своим в фантастические выси воспарило. Людская речь без проводов на огромное расстояние передается, летательные аппараты в быт входят, лошадей собираются автомобилями заменить... А тут... — Стремжицкий горестно скомкал седую бороду.

Филька продолжал наступление:

— Мы об чем уговор имели? Чтобы из толпы — никуда. Там-то за вашим братом не одна пара глаз глядит.

И обратился к Голикову, как бы прося рассудить:

— Я, стало быть, пошел евоный четвертак пропить, все чин по чину. А он — шашь и нету. Мне городовиха говорит, чего, мол, так плохо службе радеешь, твой-то давно деру дал. А я ж человек подне-

вольный. Она мужику своему, а городской приставу ляпнет. И выше пойдет... Я ж каждый шаг доложить должен. Вишь, дни-то какие...

— Ну, хорошо. Установили, где я нахожусь, извольте докладывать. Кстати, от меня больше гроша не получите.

Филер впился в Стремжицкого колючими, глубоко посаженными глазами. Лоб его нахмурился, он тяжело задышал, всем существом изображая негодование. Кто видал, чтобы Филька-Дракон по два раза на дню брал с кого-нибудь гроши? Такого не было и не будет. И ежели он захочет взять, то вполне может попользоваться от господина журналиста.

Иван не успел ничего сказать, только подумал, что зря успокоился, недооценил филера, и вопросительно глянул на него. Дракон пояснил:

— Завсегда господин журналист проживали одиноко...

— Что же, к нему нарзечена не может приехать? — возмутился Сигизмунд Эдмундович.

Лицо Фильки осветилось плутоватой улыбкой, морщины на лбу разгладились. Дракон даже помолодел.

— Невеста? — насмешливо переспросил он. — Люди образованные, а соображения тоже не лишку. Сколь их, этих невест-то, теперь развелось. Кто за решетку угодит, сразу к нему невеста заявляется. И волнение какое в народе произойдет — невесты энти так и шныряют. Да я только через порог шагнул, господин Голиков так на меня глянул и тут же на барышню, сразу стало понятно. Фильку-то, господа хорошие, сроду обмануть не выпадало. — Дракон победно оглядел всех присутствующих в комнате. — Мне сами его благородие ротмистр Завьялов изволили говорить: ты, мол, мерзавец, Филька, всем филерским статьям соответствуешь и только трех тебе не хватает, а то бы по своей сыскной способности большим человеком был.

— Каких же это трех? — поинтересовался Голиков.

Филька охотно пояснил. Филерское дело непростое. Согласно инструкции филер должен быть благонадежным, честным, трезвым, общительным, с людьми уживчивым, терпеливым, смелым, ловким, грамотным, сообразительным, выносливым, с крепкими ногами, хорошим зрением, слухом, памятью.

— Ну, последнее-то у вас есть, — заметил Сигизмунд Эдмундович, — инструкцию вон без запинки...

— А каких качеств вам не достало? — снова спросил поэт.

— Трех. — Загибая пальцы на правой руке, филер перечислил: — Первое — хорошего прошлого. Филеров-то по той же инструкции, должны из унтер-офицеров брать. А нас все больше из уголовничков, вроде меня. Второе — грамоты. И третье, характеру мне не хватает. — Дракон с сожалением вздохнул. — Это третье — самое основное и есть. Грамоте можно выучиться. Прошлое опять же позабыть можно. В Тобольске, говорят, генерал-губернатор сидел с рваными ноздрями. А вот характер...

— Что ж в вашем характере ротмистру не нравится или инструкциям не соответствует? — не без ехидства спросил Стремжицкий.

— Жалости, полагает лишку. Я жалостливый. Может, оттого, что в каторге сидел, может, от рождения жила у меня слабая. Жалею я вашего брата. Надó все, что тут, — Филька указал рукой на сердце, — это все откинуть. А у меня щемит... Вот и ее тоже. Дите такое за решетку... Одначе с вас, господин Голиков, меньше трешки не возьму. Мне ротмистр за такие сообщения и по синенькой кидает. Не возьму меньше трешки, а мог бы и поболее содрать. Потому что хошь она и социалка, может, даже большевичка, но вы, господин Голиков, за нее не только, как за социалку в тревоге. Да и она за вас... Старые-то люди говорят: нет лучше игры, как в переглядюшки. Где сердце лежит, там и глаз бежит.



Его Макс приказал Егору следовать за ним.

— В мои апартаменты, — сказал он.

Егор стал привыкать к мудреным словам. Ништо! Время вразумит, а не все ли едино, куда шагать. Путь лежал мимо площади. Егор бывал здесь. Глазел на Кольванский столб. Какой-то барин еще тогда растолковал ему, что это памятник столетию горного дела в Западной Сибири. А зачиналось все в одном горном местечке. Рудознавец по имени Иван там первый кол забил. Отсюда и название Кольвань. Теперь-то руды изубожились, и заводы и рудники закрыли — робить стало без выгоды.

В тот раз, как был здесь Егор, площадь показалась ему громадной оттого, что пустовала. А сейчас она забита народом. То же вытворяют, что и в Нардоме, только люду больше. А ораторы ухитряются приспособиться на выступе памятника. Оттуда кричат.

Его Макс слушать не стал, прошел мимо. Свернули на тихую неширокую улицу над прудом. Егор эту улочку тоже знал. Здесь доводилось ночевать на чьем-то сеновале. Подметил, что в том дворе собак не было.

Подшли к большому бревенчатому дому. На скамейке в черной шубе-барнаулке сидела полная седая женщина. Лузгала семечки.

Артист вежливо поклонился:

— Здравствуйте, хозяйка.

Хозяйка едва кивнула, хмуро выдавила:

— Как хотите, больше не могу.

— Чего не можете-с? — с участливой тревогой спросил Его Макс.

— Ждать не могу, — сплевывая шелуху, повысила голос хозяйка. — Или платите, или съезжайте!

Артист удивился: что ж она раньше не сказала? Сколько он должен? За полтора месяца? Почему они условились-то?

— Да вы что, батюшка, с луны, что ли, свалились? По восьми рублей на месяц и по два за мебель. Итого по десяти. За полтора месяца пятнадцать рублей. Ждать больше...

— Да зачем ждать, дражайшая! Вот, пожалуйста, двадцать пять рублей.

Хозяйку будто подменили. Проворно вскочила, заулыбалась:

— Сейчас я вам сдачи, Егор Максимович... Сейчас, Егор Максимович, господик артист...

А Его Макс фасон держит. Этак небрежно:

— Не извольте беспокоиться. Зачислите вперед.

Артист занимал небольшой флигелек во дворе. Две комнаты и кухня. С хозяйской мебелью. Егору указал место на кухне.

— Здесь отдыхать будешь. Только отдыхать покуда недосуг. Пойдешь сейчас на лесозавод, где старые плавильни, возле плотины. — Его Макс написал записку, запечатал в конверт. Все делал быстро, не зря фокусник.

— Ступай! Принесешь ответ. Скороспешно.

Егор вошел на территорию завода вместе с подводой. На роспусках везли длинные бревна. Парень робел — отыщет ли хозяина, как подойдет к нему. Хозяин отыскался легко: стоял на крыльце конторы, будто дожидался Егора. И признать его оказалось нетрудно. Из тех мужиков, что были в ресторане с Родионом Силычем. В том же костюме аглицкого сукна и золотая цепка по животу ползет.

Но ждал заводчик, разумеется, не Егора. И глядел в другую сторону. Из большой хоромины, что против конторы, вывалила толпа рабочих. Впереди трое. В середине молоденький, белесый, в ватнике, без шапки. Волосы, что кудель, ветер треплет. А двое дюжих по бокам его под руки ведут.



— Простофили вы!.. — кричит белесый. — Простофили и лакеи.

Один из тех, что вели белесого, шнул его сапогом. Белесый аж охнул, но не унялся:

— Попомните, что я вам говорил. Стыдно будет.

Откуда ни возьмись, выскочили еще двое с ведрами в руках. Бьют по ведрам палками, вроде как марш наяривают. А позади всех верзила с метлой — след белесого заметает.

Вытолкнули его за ворота, пинками сопроводили.

И тут сразу заводчик забазлал:

— Спасибо, ребята! Хозяйское вам, отцовское душевное спасибо. Смутьянам да немояхам нету места на нашем заводе. Пушай горлопанят и полошат народ на площади, откуда православная Русь это терпит. Только терпение тоже имеет конец. Ну, а мы, значит, — закончил заводчик, — как жили одной семьей, так и будем жить. А того, что богопротивно, что отвратно русскому православному духу сюда, на этот двор, не пустим. И кто с этим не согласный, тех проводим отсюда с таким же оркестром.

В толпе рабочих раздался одобрительный смех.

Грузный хозяин приосанился, молодцевато отставил ногу в начищенном до блеска штиблете.

— А я, как положено отцу семьи, вас не забуду. Сегодня, только отшабашим, каждый получит по штофу водки!

Толпа оживилась.

— Премного благодарны, ваше степенство.

— Хозяину «ура»!

Егор подошел к заводчику.

— Я до вас, господин.

Подавал пакет.

Заводчик разорвал конверт, прочел.

— Прекрасно. Подожди здесь, братец. Я сейчас.

Егор остался стоять у крыльца. Мимо него шагали рабочие. Пожилой усач сказал товарищу:

— Не лежит у меня душа хозяйскую водку пить. Будто за штоф товарища продал.

— И то верно! — согласился его спутник.

Егора это по сердцу царапнуло. Вспомнил учителя. Они за водку со двора, а он, Егор, за харч из залы вытаскивал.

Вышел заводчик. Подавал конверт, не такой, как артист ему послал — потолще.

Его Макс ждал возле дома на скамейке. Нетерпеливо встал на встречу.

— Тебя за смертью посылать, — и торопливо разорвал конверт.

«Деньги!» — ахнул Егор. Ему показалось, что денег очень много. Он столько никогда не видал.

Артист пересчитал, остался недоволен. Проворчал:

— Не допекло еще, видать, не проняло. Ну, с паршивой овцы... — перебил себя. — Сейчас к пимокату Курмачеву пойдешь с письмом. Не мешкай. Встреча здесь.

Завод Михаила Феофановича Курмачева Егор знал. Пытал счастье в пимокатню на работу устроиться. И самого Михаила Феофановича видел. Невысокий, а руки, как у обезьяны — ниже колен.

Ворота завода были открыты. Егор заглянул — в глубине двора толпа. Мужика силой на тачку сажают. Он брыкается, кричит. «И здесь тоже смутьяна вывозят!» — подумал Егор и ахнул от удивления. Вывозили не смутьяна. Вывозили самого Михаила Феофановича. Курмачев сидел на тачке. Пальто его было перемазано чем-то желтым и прилипчивым. Не то дерьмом, не то яйцами.

— Это вам за так не пройдет, — размахивая длинными руками, охрипшим голосом кричал хозяин. — В тюрьмах сгною, на каторге.



А тачка резво катилась к воротам. За воротами рабочие перевернули ее, вывалив хозяина на стылую дорогу.

Курмачев пытался стереть грязь со своей одежды снегом и люто ругался.

Из толпы отвечали насмешками:

— Ишь, как прокатили. Только не личит ему без рессоры.

— Тряско ихнему степенству. Не по ндраву!

— Я вас не так тряхну! — погрозил Михаил Феофаныч. — Ждите полицию, смутьяны!

К нему подскочил длинный испитой мужик в распахнутом полушубке. Хотел что-то крикнуть, но кашель душил его.

— Уйди, чахоточный, зашибу!

Мужик справился с кашлем.

— Ты меня и так зашиб! Я к тебе каким пришел, а каким стал! Каждую неделю кровь горлом.

— Из милости держал тебя, Федька. Теперя выгоню!

Толпа грозно заворчала, люди двинулись к хозяину.

Курмачев опасливо отступил, махнул рукой, скорым шагом двинулся прочь. Егор не знал, как поступить. Шуганет его Михаил Феофаныч с письмом вместе. А ежели не подойти, что артист скажет?

Курмачев даже обрадовался. Тут же достал из кармана деньги.

— Бери! Катеринку не жалею. Еще бери! На такой случай две дам. И передай, коли понадобится — добавлю. Да ишшо не энтим попушусь! Завод сожгу, а хамью... Мать их... — Михаил Феофанович погрозил в сторону своего завода кулаком. — Видал, что они со мной... Я их поил, кормил...

Артист ждал Егора на том же месте. Деньгам обрадовался. Это — другое дело. А все потому, что клюнул хозяина жареный петух. Вывезли из собственного завода на тачке. Оттого и щедрый...

Артист постоял молча. Подумал вслух:

— Сейчас бы неплохо рябиновой или даже коньячком подкрепить. Однако нельзя. Дела-то горячие. К попу надобно, к пастырю духовному. Впрочем, может, долгогривый-то как раз наливочки и поднесет...

## 5.

Путь Родиона Силыча Бородавкина тоже лежал к пастырю духовному. Только прибыл он туда на два часа раньше, прямо из ресторана.

Самым неприятным в предстоящей встрече для Родиона Силыча была необходимость много говорить. Протоиерей Анемподист — настоятель Петропавловского собора, преосвященный здешних мест, к тому же законоучитель женской гимназии, где обучались две дочери купца, был не из тех, кто пожелает понимать Бородавкина с полуслова. Ему нужно уважение оказывать, целыми фразами с ним... Но что поделаешь! Приходится идти на любые жертвы.

Родион Силыч не из тех дураков, какие не понимают опасности происходящего сейчас на земле русской. Этим петербургским идиотам было мало позорного поражения в войне. Им понадобилось еще и девятое января. Вот тогда бы сделать какие-то уступки голодной и оборванной рабочей ораве. Тогда народ еще слезно просил царя. А теперь он уже не просит. Теперь требует и ни полиции, ни жандармов не боится.

Позор! Дошло до манифеста. А царская яхта в Финском заливе наготове стоит. В случае чего, царь в Данию улепетнуть собирается. Император всероссийский, царь польский, царь сибирский, царь грузинский, царь литовский, финляндский, князь эстляндский, лифляндский, курляндский, всея северные страны повелитель и государь в датское мизерное королевство приживальщиком метит!



Да, довели Россию. Родион Силыч зябко поежился. Из памяти выплыл темный притихший перрон Петербургского вокзала. Керосиновые фонари погашены. Исчезли носильщики, торговцы съестным. Бесприютные пассажиры тревожно вполголоса переговариваются между собой. Так, мол, не только в Петербурге и в Москве, и в Риге, и в Самаре, и в Ростове-на-Дону... Вспомнил, как с досады отправился было в вокзальный ресторан. Но уперся взглядом в бесполое объявление на широких дверях: «Закрето на неопределенное время». Они дождутся, что всю страну закроют на неопределенное время! Сейчас брожение идет более, чем в ста городах. Закрывают магазины, заводы, фабрики, переворачивают трамваи, убивают офицеров, драгун, казаков. Теперь другого выхода, наверное, нет, как попробовать силу показать. Манифест не одним социалистам да коммунистам свободу дал. Он и патриотам русским дал свободу за себя постоять...

Протоиерей Анемподист Антонович Водовский принял именитого купца в своем кабинете. Откуда-то из глубины квартиры доносились звуки рояля, томный голос Марии Анемподистовны, двадцатипятилетней дочери священника. Бородавкин знал, что перезрелая девица демонстрирует свои вокальные способности всякий раз при появлении в доме гостя мужского пола. И особенно напирает на чувствительные строки романа: «Я грущу, если можешь понять мою душу доверчиво нежную...»

Хозяин дома восседал в кресле, возле стены, сплошь увешанной иконами. Чуть на отшибе от других купец приметил лик, срисованный вроде бы с самого Анемподиста. Тоже сухое изурнованное лицо, седая борода, недобрый, будто летящий навстречу лоб. И глаза, от которых нигде не скроешься. Так и смотрят на тебя в упор.

— Не желаете ли чайку? Или кофе? Вина, может быть?

Купец от всего отказался. Анемподист Антонович, вероятно, помнит их недавнюю беседу?

— Наставления ваши, бесценнейший Родион Силыч, забывать не смею. Ибо мудрость ваша не суемудрие отнюдь.

Родион Силыч почуял в поповской филиппике привкус иронии, а может быть, ему только показалось? Все же досадливо поморщился:

— Польщен.

На минуту воцарилась пауза. Бородавкин вообще заметил, что диалоги с протоиереем у него всегда идут с паузами. Поп осторожничает, будто примеривается, боится сказать лишнее. Да и купец норовит оплошки не дать.

— Времена, Анемподист Антонович, сказать языком церкви, настали анафемские. Подошла пора решительных действий. Мы намерены поднять верных людей на врагов престола. Ждем церковного благословения.

И опять наступила пауза. Протоиерей обдумывал свой ответ:

— На врагов, говорите? Не помните ли, дорогой Родион Силыч, в Евангелии от Матфея стих о врагах наших?

Купец с трудом подавил раздражение. Привык долгогривый поучать, коротко ответил:

— Не помню.

— Позвольте вам напомнить, Родион Силыч: «А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас...»

Сдурел поп! Куда он клонит? Родион Силыч закипал. Однако снова сдержался. Даже похвалил пророка Матфея:

— Проникновенно! Весьма проникновенно. — Помолчав, добавил: — Я, конечно, профан в богословии. С трепетом признаюсь вам, как педагогу и вероучителю — в реальном по закону божьему выше тройки не поднимался.

— Шутить изволите, Родион Силыч?



— Нет, зачем же шутить, Анемподист Антонович. Так вот, я хотя и профан, все ж таки уверен — у того же Матфея, а нет, так у Марка или Иоанна можно сыскать и нечто прямо противоположное.

— Не кощунствуйте, Родион Силыч.

— Извините, батюшка, — перебил Анемподиста Бородавкин. — Давайте в теологические дискуссии не вступать. Лучше во имя веры действовать скоро и круто.

Анемподист Антонович поднялся, неслышно прошелся по кабинету, утопая в ворсистом ковре домашними туфлями. Купец, хотя и был поглощен своими мыслями, все-таки про себя отметил, что протоиерей, несмотря на свои шестьдесят, еще крепок и походка у него упругая, как у молодого.

— Круто-то, круто, глубокоуважаемый Родион Силыч, но и оглядчиво, опасно надо. Не усугубить бы смуту. Не ровен час, и в нашем мирном городке может кровь пролиться.

— Кровь и надо разрешить, Анемподист Антонович, — жестко возразил Бородавкин.

— Как можно! Как можно, бесценный Родион Силыч!

Бородавкин досадливо поморщился.

Пусть не думает Анемподист Антонович, что они, купцы и промышленники, идут на это с легким сердцем. Крайняя необходимость заставляет. Поэтому и церкви нужно решаться. А помощь ее забыта не будет.

Священник в раздумье снова тянул с ответом. По суровому, но непроницаемо спокойному лицу трудно было понять, согласится ли он со своим гостем.

Наконец Анемподист прервал молчание.

Он и жив-то неоставлением купеческим и особенно Родиона Силыча. На этот раз в тоне законоучителя не было и тени иронии. Он всегда помнит, сколь много совершено людьми состоятельными для украшения престольного храма Петра и Павла, в коем несет священническую службу свою. Но христианство — религия милосердия. И не подобает...

— А известно ли вам, — перебил священника Родион Силыч, — что государь с большим одобрением относится к патриотическим выступлениям народа. На сообщении о подобном случае он однажды собственноручно начертал: «Объединяйтесь, истинно русские люди! Царское вам спасибо!»

— Прозорлив самодержец и благостно слово его, — с чувством заметил протоиерей. — Но не могу! Что не могу, то не могу, Родион Силыч! Не обессудьте.

И опять заговорили о христианстве, о боге, о вере...

Бородавкин плохо слушал Анемподиста. Соображал: боится поп. И не бога. С богом он всегда договорится. Кого же? Кого же он здесь боится? Прихожан? Не похоже. Обратиться к другому попу? Бесполезно. Протоиерей у них главный, на все двенадцать городских божьих храмов. Да и никто так не скажет, как он. Он же у них златоуст, Феофан Прокопович. Ладно. Обойдемся без церковного благословения. Только долготривым это даром не пройдет. Шиш они получат на украшение своих храмов. Об этом Родион Силыч позаботится.

Не дослушав протоиерея, купец встал, откланялся. Самое обидное: сколько слов сказал.

У дверей отшатнулся. Навстречу прошагал высокий монах в черной рясе, с черной бородой, с черным саквояжем в руках. Монах исчез в доме Водовских.

Родион Силыч, садясь в свой щегольской экипаж, заметил рядом пару взмысленных лошадей. В кошевке на облучке дремал ямщик. Бородавкин догадался, что именно он привез монаха, и подивился: как быстро кучер успел задремать!



— Из Томска прибыли, Родион Силыч, — заметил бородавкинский кучер и натянул вожжи.

— Стоп! — встрепенулся Бородавкин. — Путаешь?

— Как можно, Родион Силыч? Сам монах сказал. Не ведаешь, спрашивает, где проживает протоиерей Водовский. Мы, поясняет, не здешние, мы из Томска.

Купец проворно выскочил из экипажа, вернулся в дом. Бородатого монаха застал тяжело склонившимся перед протонереем.

— Благословите, отче.

Получив благословение, монах раскрыл свой саквояж. Достал оттуда что-то плоское, аккуратно завернутое в тряпицу.

— Подарок вам от архипастыря нашего, епископа Макария.

Услышав имя Макария, Родион Силыч сразу догадался: вести благоприятные. С этим князем церкви ему доводилось встречаться, когда в горах пушнину закупал. Сначала наслышался о нем — неизвестно, где легенда, где правда. Точно знал только, что Макарий Невский — сын пономаря. Окончил духовную семинарию. Миссионерствовал в Горном Алтае. Обращал немаяных в православную веру.

Случилось и Бородавкину наблюдать, как это делается. Пробрался он тогда по Уймонскому тракту через Черный Аюч и Усть-Кан в Верхний Уймон. Жил в аиле у богатого бая. И тут нагрянул Макарий с двумя монахами и полицейским урядником. Ойротцы бестолково суетились, кричали, бегали из аила в аил. Испуганно ржали лошади, лаяли собаки.

— Дикари! Одно слово язычники! — возмущался урядник и под страхом наказания сгонял народ к реке.

На расстеленной у берега черной материи лежал крест, стояла кадильница, грудой были сложены подарки для крестников — рубахи и нательные кресты.

Самым трудным оказалось заставить ойротов раздеться, окунуться в речную воду. Они верили, что вода уносит счастье. Однако и тут действовала угроза урядника.

— Все ваше жилье пожгу и скот угоню, — кричал он.

— Бачка, пожалей, — падали ойротцы на колени перед Макарием. Но здоровенный, плечистый поп поднимал их и сталкивал в воду.

Окунулись алтайцы в воде, подымили над ними ладаном, прочли молитву, дали поцеловать крест, по ложке вина выпить, выдали по новой рубахе и по нательному кресту — и стали ойроты христианами. У каждого новое имя появилось — не Чот, а Иван, не Аржан, а Михаил или Владимир. Теперь новокрещенные в аиле икону повесят, будут церкви податать платить, а своим богам тайно молиться...

В одно мгновение пронеслись все эти воспоминания. «Нет! Макарий не подведет. Макарий сходно с нами мыслит!»

А монах развернул подарок епископа. Оказалось, картина: светлый всадник на белом коне заносит меч над отвратным чудовищем — хищным драконом.

Приезжий смиренно пояснил:

— Картина сия кисти прославленного италийского живописца Рафаэля. Именуется «Святой Георгий». Подлинник хранится в городе Париже, в Луврском собрании. Здесь могучей десницей поражает святой воин нечестивого дракона-людоеда и спасает отроковицу — любимое чадо правителя города.

Родион Силыч приметил теперь и отроковицу на заднем плане картины.

— Великая благодарность владыке. Не просил ли чего еще передать?

— Только картину, отче.

— Быть может, конфиденциально?

— Нет, ничего более. Наказал лишь, как можно поспешать. До Но-



вониколаевска я — поездом. А там на лошадях. Ехал торопко. Днем и ночью под колесами искрило, себя, чтоб из возка не выпасть, веревками привязывал. Каюсь, пару коней загнал. Запаялся, пали.

— Стало быть, ничего боле, — повторил протонерей.

— Незачем, — напористо сказал Родион Силыч.

Монах недоуменно глянул на него, как бы вопрошая: «Кто такой есть?»

— Я вас не познакомил. Простите упущение сие, — извинился отец Анемподист. — Крупнейший в наших местах, впрочем, и во всей губернии негоциант Родион Силыч Бородавкин.

Монах почтительно поклонился.

— Как в Томске? — спросил было Родион Силыч.

Монах молчал.

— Заснул! — удивился Анемподист.

Действительно, посланец епископа спал.

Протоиерей еще раз взглянул на картину.

— Вы правы, Родион Силыч. Незачем его преосвященству что-либо передавать. Подарок сей, как солнце из-за туч все проясняет... Благодарственное молебствие учиним в честь дарования манифеста — милости царской. Дальновидны же вы, бесценный Родион Силыч. Ох, дальновидны!

Родион Силыч, наоборот, ругал себя. Как же он не догадался, кого ждет и чего боится протоиерей? Не подумал, что есть у него свое начальство? Видно, стареть стал. Прозор не тот...

## 6.

Артист привел Егора в магазин.

— Выберите-ка на этого молодца костюм попримличнее и пальтецо, и шапку, — велел он приказчику. Поиграв бровями, добавил: — Постарайся, братец, чтобы походил на моего служащего.

Приказчик поклонился низко.

— Сей секунд! Сей секунд! — и, не зная, как титуловать барина, добавил пригодное на все случаи: — Вашство.

Через несколько минут Егор, глядя в огромное магазинное зеркало, не узнавал себя. Перед ним стоял барин не барин, но что-то возле того. Обеспеченный какой-нибудь городской мещанин, домовладелец.

— Ловко сидит, — похвалил артист. — Теперь можно не то что к протоиерею, к самому патриарху. А рухлядь свою с собой возьми — пригодится.

Приказчик услужливо завернул старую одежду.

Они вышли на одну из немногих в городе мощенных булыжником улиц. Улица была неширокая, но дома стояли справные, с террасами, с балконами. Попадались двухэтажные.

— Вот и священская хижина! — артист указал на добротный, обшитый тесом угловой дом с просторной застекленной верандой. — Говорят, не единым хлебом. Но, видать, и духовным богатством не единым... — Нежданно помрачнел: — Слышно, суров Анемподист этот самый. Мрачный человек... — Но тут же стал себя подбадривать. — Ничего, бог не выдаст, так и поп не съест. Авось, столкуемся. Гляди, с музыкой встречают.

В поповском доме играли на рояле. Женский голос с придыханьем выводил:

В тине житейских волнений,  
В пошлости жизни людской  
Ты, как спасающий гений,  
Тихо встаешь предо мной.

«Ишь, фортки пооткрывали. Жарко топят», — подумал Егор. Артист прислушался, приосанился.



Видимо, дочка имеется. Сам-то вдов, говорят.

Вошел в дом, оставив Егора ждать на скамейке. Из открытого окна несло:

Только утро любви хорошо,  
Хороши только первые встречи...

Незнакомая музыка, будто откуда-то издалека завезенные слова обволакивали Егора. Заражаясь чужой грустью, он задумывался над странными поворотами своей судьбы. Всю жизнь Егор считал работой, когда от напряжения гудели руки, ныли плечи. А сейчас очутился на какой-то не такой работе. «Сходи», «принеси», «подожди» — и за этот пустяк харч дают и обещают платить деньги. К добру ли?

Праздник чувства окончен. Погасли огни.  
Сняты маски и смыты румяна;  
И томительно тянутся скучные дни  
Пошлой прозы тоски и обмана...

— грустил, почти плакал тот же голос.

На улице стало темнее, и не поймешь, то ли оттого, что короткий зимний день клонился к вечеру, то ли от низко плывущих, набухших влагой туч.

«Снег повалит, — подумалось Егору. — Хорошо, ежели снежная зима — к урожаю».

И тут ему пришло на ум, что коли Его, Макс будет платить по пятнадцать целковых в месяц да еще и кормить, одевать, обувать, то за небольшой срок можно скопить деньжат, арендовать землю и поставить свою избушку. А там, пожалуй... Сердце у него сладко замерло, там, пожалуй, и Нюру можно посватать. Нюра, соседская девчонка, дружба с которой у него началась еще в детстве, когда Егор подарил ей свои коньки — подкованные деревянные колодки. Эти коньки он выменял у другого соседа — Кешки — за двести бабок. За десяток годов дружбы Егор и Нюра привыкли делиться всем немногим, что им принадлежало, начиная с грибов и ягод и кончая пимами и ботинками. На селе их звали женихом и невестой. Голод погнал жениха из родных мест, разлучил с невестой. И тем горше было Егору, что не один он заглядывался на Нюру. Даже сын сельского богача, лавочника и мукомола, засылал к ней сватов. Нюра едва уломала родителей отказать немилому. Но это было тогда. А теперь Егор далеко... Дождется ли его Нюра?.. Эх, скорей бы заработать денег да податься к себе, в Гоньбу...

— Егор! Егор! Оглох, что ли?

В дверях стоял Его Макс.

— Это, братец, не мода, — негромко, с укором сказал артист. — Так, братец, нельзя. Ты обязан всегда слышать хозяйский даже шепот. Идем, в дом приглашают.

Протоиерей восседал на том же месте под иконами.

— Стало быть, ты не с теми сущими каторжанами и поселенцами? — уставя на Егора седую бороду и буравя его суровым всевидящим взглядом, строго спросил священник.

Егор не понял.

— Царя российского, помазанника божьего считаешь? — снова спросил законоучитель.

— А как же, батюшка? Неуж на мне креста нету.

— Готов ли послужить престолу русскому, святой церкви православной?

Егор растерялся. Робко повторил:

— Неуж мы без креста...

В проповеднический голос отца Анемподиста вплелись скорбные нотки:

— Времена наступили коварные, вероломные. Многие людишки

наушением дьявола почитают за усладу поносить власть, от бога данную. Отвратно видеть, как шествуют они с кроваво-красными знаменами, как семенами ядовитых плевел разбрасывают по земле кличи и призывы возмущающие. Патриотам истинным сплотиться надобно, чтобы пережить и избыть лихолетье российское. В иных городах верующие, патриотически настроенные люди объединились и громят антихриста. Хочу и вас, возлюбленные чада мои, благословить на такую битву.

Протоиерей по очереди перекрестил Его Макса и Егора. Егору казалось, что высокий лоб священнослужителя летит ему навстречу, слова обволакивают, туго пеленают.

— Не жалейте себя во имя господа, во имя блага Отечества своего. На святое дело идете, сыны мои!

Они вышли из дома с торжественными лицами. Однако, пройдя несколько шагов, Его Макс разом переменялся.

— Ну, долгогривый! — заявил он. — Целую проповедь выложил, а наливочки так и не поставил. Не понимает, святоша, какво в полной трезвости его наставления слушать. Где же тут трактир ближайший?

Чего только не было с Егором в этот, похожий на сказку день! Вот он вместе с артистом сидит за столиком, в новом костюме, что тебе господин, а половой, почтительно изогнувшись над столом, спрашивает:

— Что пожелаете?

Его Макс, вальяжно развалясь, приказывает: пожелают они графинчик рябиновой, закуску «побогаче, братец, подороже» и, конечно, пельмешек.

Пил артист один, Егор только ел. Его Макс не настаивал. Парень не опытен, может захмелеть. А вечером предстоит ему непростое дело. Да, сейчас все время пойдет дело за делом.

Его Макс пил за себя и за Егора. Без умолку говорил:

— Отцы-то города прочесались в затылках. Сидели, боялись толстыми задами пошевелить. А теперь: «Торопитесь, Егор Максимыч!», «Время не ждет, Егор Максимыч!», «Рассчитываем на вашу разворотливость, Егор Максимыч!». Вишь, и протоиерей благословение дает!..

Егор почувал — не только вино развязало язык артиста. Он ведь почти такой же бедолага, как и Егор. Еще недавно и ему за обед нечем было заплатить. А тут к нему обратились с делом, да еще доверили какие-то тайности. «Ишь, как кочевряжится!»

Его Макс вскидывал брови, поджимал губы, морщил лоб.

— Проверонили, заправили местные. По всей стране отпор дают. Во многих городах попы давно паству свою на битву с крамолой благословили. В Томске... Да что в Томске, даже в Москве златоглавой патриарх разрешил на колокольнях пулеметы поставить. Оттуда кара божья свинцовым градом летит.

Егор вдруг явственно увидел таежную поляну, траву, красную от крови, мужика с устремленными вверх остекленелыми глазами. Мужик был охотником из соседней деревни. В руках у него разорвало ствол ружья. Егор вышел на него случайно, собирая поблизости грибы, и запомнил на всю жизнь. Теперь ему казалось, что все пораженные свинцовым градом лежат не на городской улице, а на траве.

Его Макс хотя и захмелел и в кураж вошел, но настрой Егора почувал. И сразу разговор переменял:

— Ты что, тезка, пригорюнился? Думаешь, они всерьез палили? Они ж холостыми, так, поугагать.

Егору хотелось верить артисту. Однако на память шло девятое января. Ежели тогда они всерьез могли, так пошто теперь в шутку...

А Его Макс гнул свое:

— Священники да слуги царские, они ж не безбожники или нехристи какие. Это немояхи однажды царя убили. Да какого царя!



Освободителя, который крестьянам волю дал. Недавно великого князя Сергея Александровича ухлопали. В Варшаве дали мальчишке книгу — брось в толпу. А это была бомба. Пятнадцать человек — на тот свет. Их надо бояться, живодеров этих. Впрочем, мы об этом еще поговорим.

Разговор Егор Макс продолжал дома. Начал с того, что дал Егору пятнадцать рублей. Объяснил: любит вперед платить и вообще людям приятное делать. А вечером он даст Егору одно поручение. Если Егор выполнит, еще красненькую получит. Теперь же пусть парень хорошо отдохнет, поспит на кухне.

Егор разлегся на широкой лавке, положил под голову полушубок. Удобно! Но уснуть не мог. Господи! Какие деньжищи привалили, да хозяин еще обещает! Это надо же!

Попросил у артиста иголку. Деньги в нижнюю рубаху зашил, чтоб всегда их чувствовать.

Что же это с Егором случилось? Неуж впрямь к добрым людям попал? Пошто они этакие деньжищи-то не жалеют? А вдруг заставят что плохое сделать? Иди, скажут, Егор, ограбь того, либо этого! Или еще хуже — убей!

Да чего это я? Скудоумный, что ли? Он же у Родиона Силыча служит. Неужто Родион Силыч убивать или грабить кого станет? И тут же память подсказывала сельские байки про самого богатого в Гоньбе и во всей округе мужика. Будто давал он приют беглым бродягам-каторжанам, а те ладили у него в бане фальшивые рубли. А когда счет доходил до пятисот, бродяги исчезали, и только по весне полёй водой прибывало к берегу разбухших мертвяков.

И что ему сегодня все лезет в голову. Радоваться надо, а он...

К вечеру страхи Егора рассеялись. Артист не заставлял его ни грабить, ни убивать. Только сходить на собрание социалов. Социалы послали по деревням своих людей. Пригласили в город выборных от крестьян. Хотят вместе бунтовать против царя. Мужики лес требуют, лучшие земли им подавай. Должен быть посланец и из Гоньбы. На место его пойдет Егор.

— А ежели впрямь какой мужик из Гоньбы придет?

— Не придет, коли мы тебя посылаем.

Артист объяснил Егору, как ему себя вести. Говорить меньше, больше слушать. Социалы, особенно большевики, будут приставать, готовы ли, дескать, выступать? Отвечай, что велено послушать и доложить, а там, как решат, это тебе неведомо. Еще спросят: есть ли, дескать, оружие? Скажи, коли понадобится — найдем. Спросят — какое? Говори, есть, мол, и огнестрельное у охотников, да и солдаты с японской войны кой-чего прихватили. Главное же, старайся запомнить, какие козни социалы замышляют, что собираются в ближайшие дни делать? Еще запомни пароль и отзыв.

Егор все запомнил. И сам немного успокоился, на душе отлегло. Худого его делать не заставляют. Ежели же кто козни против церкви и царя-батюшки замышляет, так об этом и упредить не грех.

В окно Егор увидел: хозяйка дрова рубит. Артист заметил:

— Мужик у нее на «Варяге» служил. Погиб.

Егор слышал о крейсере «Варяг», о славной битве, какую вели русские моряки с целой японской эскадрой. Знал даже песню: «Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступаает!»

Вышел на улицу, попросил у хозяйки топор. Вволю намахался им, сложил поленницу. Хозяйка совала пятиалтынный. Не взял.

Его Макс смеялся:

— Дураков работа любит.

А Егору, по его натуре, потрудиться всласть — радость. За эти два дня первый раз почувал свою силу. И шибко не захотелось идти на какое-то сборище. Куда способней руками работать. Руки по делу тос-



куют, а он... Однако на груди возле самого сердца шуршали пятнадцать рублей.

Социалы собирались в пять часов вечера в доме за мостом, на Большой Саксонской улице. Егор напялил свою старенькую одежонку и отправился.

Вечер стоял беззвездный, низко нависли черные облака. На Соборной — главной улице города, еще горели керосиновые фонари, а как только Егор свернул с нее — темень разбивали лишь отсветы снежной белизны.

Осторожно повернув железное кольцо, вошел в калитку. Во дворе — никого. Но он не сделал и двух шагов, как из-за угла дома вынырнул паренек в поддевке.

— Вы к кому? — спросил сухо, строго.

— Ветеринар здесь-ка живет?

Голос у Егора с хрипотцой. Срывается со страху.

— Что, корова не может растелиться?

— Первотелка она.

Парень подал руку, тепло спросил:

— Откуда, товарищ?

— Из Гоньбы мы.

## 7.

С появлением Насти Иван Голиков как бы раздвоился, ощутив в себе и нового, второго человека. Обычный Голиков считал, что поэт обязан бережно относиться к своему таланту и обдуманно, расчетливо распорядиться им. А это значит, прежде всего, уметь беречь себя, свое время, организовать свой труд. Но другой, новый Голиков, жил как бы во сне, был Настиним спутником, кружился в ее орбите и одновременно носил ее в себе. Он, на удивление старому, совершал неожиданное и даже нелепое.

Иван никогда не делился своими задумками, не показывал незавершенную работу. Суеверно считал: достаточно раскрыть перед кем-то замысел — и задуманное не получится. Сейчас другой, новый человек в нем, рассказывал Насте содержание будущей поэмы. Рассказывал, волнуясь, перебивая себя, забегая вперед и возвращаясь, путая жизненную основу с художественным вымыслом.

Это случилось после ухода неожиданных гостей. Они покинули комнату поэта один вслед за другим: Филька-Дракон, получив свою трешку, а Сигизмунд Эдмундович заверив, что на Филькино слово можно положиться, он зря денег не возьмет и, более того, при случае может даже предупредить об опасности...

Перед Настей возникали картины голиковского детства. Он не знал родительской ласки и заботы. Малолетство врезалось в память и преследовало до сих пор тяжелыми кошмарами. ...Отец тащит мать за волосы. Мать волочится по земле. «Десять верстов волоку!» — пьяно бахвалится отец. Из толпы зевак голоса: «Учи, учи ее, стерву!», «Отпусти. Помрет ишшо!», «Не помрет! Бабу в ступе не истолкешь!» ...В тесной избушке пьяный отец дерется со старшим сыном. Рухнул стол, в разные стороны летят табуреты. Сестренки визжат от страха. Голова брата глухо стучит об пол. «Убью, щенок!» — хрипит отец. Брат поднимается с пола, лицо его залито кровью. «Врешь! — непослушными губами выдавливает он. — Врешь! Прощло твое царство!» Отец снова бьет его, валит на пол. Мать, прерывисто дыша, шепчет: «Вс-се... с-смерть м-моя... подошла...»

Руки Насти лежали на столе, как на школьной парте. Слушала, что прилежная школьница. Впрочем, Настеньке в замысле поэмы понравилось далеко не все. Застенчиво, но твердо она отметила: идиотизм жизни, нищету он покажет очень сильно. Но где же виновники этого унижительного состояния, те, кто ввергает людей в этот ад?



Новый Голиков опять восхитился. Девушка имеет свое мнение, у нее есть свой ракурс. Но старый все-таки пересилил. Вдолбили девочке эти социальные идеи.

Стал объяснять: у него есть иная цель. Он стремится показать силу человеческого духа. Его герой, так же, как и он, создал для себя страну чудес и фантазий, и она помогла ему преодолеть свинцовую мерзость, тяжесть и серость обыденщины.

Голиков вспоминал: у него не было игрушек. Первую игрушку он купил себе двадцатилетним. Купил, наивно стремясь восполнить неизведанное. Но как чудесно было в свободное время забавляться на широкой печке лучинками и тараканами. Лучинки превращались в железную дорогу. Тараканы становились паровозами. Они сползали с рельс. Случались крушения. Маленький Ваня Голиков героически спас пассажиров.

Однажды он нашел на помойке сломанного оловянного солдатика. Какие бури воображения вызвал этот солдатик! Теперь по русской печи передвигались целые колонны войск. Шли большие сражения, в которых, разумеется, побеждали только отечественные полководцы, и не раз, не два прославился храбростью Иван Голиков.

— Разве плохо написать о том, как внутренний мир противостоит внешнему, воображение уводит от ужасов действительности?

Настя стояла на своем. Это идеализм, это полуправда. Это — недомолвки.

«Эк тебя напичкали социалисты!» — досадовал Голиков. А новый, Настин поклонник, тут же возражал: замечательная девушка! Только такому чистому сердцу доступны такие прозрения. Иван вспомнил, как вся их семья клеила и вставляла в мушкетеры папиросные гильзы. По субботам отец сдавал работу хозяину табачной фабрики. В одну из суббот хозяин без предупреждения снизил расценки за работу. Вечером отец явился домой против обыкновения трезвый, но притихший. Ивану казалось, что он даже стал ниже ростом. Обида гнула отца к земле.

Он сел за стол пить чай, но стакан выпал у него из рук и разбился.

— Нету мочи... Нету... — повторял он, и слезы катились из его глаз.

И беспомощность отца, которого Иван видел пьяным, жестоким, куражливym, но никогда слабым, никогда отчаявшимся, жалующимся на безысходность, потрясла больше, чем дикие драки и даже безвременная смерть...

«В самом деле, — подумал новый Голиков, — почему такой сцены нет в моей поэме?» Но другой, обычный взял верх: весь настрой его поэзии совсем иной!

Иван молчал в раздумье, а Настя вдруг засобиралась:

— Я приду часа через три.

— Куда же вы? Темно.

Это новый Голиков.

А тот, всегдашний, тут же обругал его: «Куда ты, дурак, лезешь? Ее же кто-нибудь ждет!»

Настроение разом упало. Весь обмяк, поскуцнел.

Настенька, казалось, поняла и пожалела его.

— Темно, действительно. Не согласитесь меня проводить?

Путь лежал через мост. Шли слухи, что здесь пошаливают люди Витьки Сильного — известного в округе бандита. Следы Витькиной деятельности не раз находили отражение даже в отделе происшествий «Еженедельных телеграмм». Впрочем, это не мешало самому Витьке свободно разгуливать по городу. Его шикарная, увенчанная дорогим набалдашником трость, его медвежья полудошка и летний светлый плащ хорошо были знакомы горожанам. Поговаривали, что полиция у

него на жалованье, и немалые чины сживали с ним за карточным столом.

На мосту Настеньку с Иваном стал догонять рослый детина. Голиков взял Настю под руку. С удивлением подумал, как раньше не решился это сделать, ведь когда-то запросто перенес свой Подснежник через лужу. Настя доверчиво прижалась к нему.

Детина прошагал мимо, не обратив на них никакого внимания. Едва видный в ночных сумерках, он маячил впереди по Большой Саксонской.

— Странное название, — заметила Настя.

Иван объяснил — Саксонские, Большая и Малая, появились еще когда город был заводским посадом. Здесь селились приезжие из Германии саксонские немцы, мастера плавильного дела.

— Нам с вами нужно весь город обойти, — легко пожимая руку Ивана, заявила Настенька. — Про Зайчанскую часть я еще летом узнала, теперь про Саксонские улицы. Так всю местную топонимику изучу.

Новый, опьяненный Настей, Иван чуть было не ответил, что готов с ней на любое путешествие. Вот и сейчас мог бы шагать и шагать бесконечно. Но другой, трезвый Иван Голиков, удержал его.

Подшли к нужной калитке.

— Когда же вы назад-то?.. Проводит кто-нибудь или мне подождать?

Настя тихо засмеялась. Ждать придется долго, можно замерзнуть. А главное — не за того примут.

— То есть? — простовато спросил Иван.

— Примут за шпика. А вот зайти вы со мной можете. Только решайтесь сразу. Стоять здесь нельзя.

Из-за угла дома вынырнул паренек в поддевке.

— Вы к кому?

— Скажите, пожалуйста, не здесь живет ветеринар?..

## 8.

В комнате много людей. От дыхания пламя в десятилинейной лампе колышется, вот-вот погаснет. А народ все прибывает. Сразу вслед за Егором вошли двое — парень высокий, русский, а лицо темное, скуластый. Такие часто встречаются в здешних местах. Видно, в роду какой-то калмык или калмычка были. С ним девушка, приглядная, смиренная, все молчит, руками толстую косу перебирает. То ли косою этой, то ли скромностью своей напоминала его Ньюру. И снова подумал Егор про зашитые в рубаху пятнадцать рублей. Увидит и он свою Ньюру, только бы проворней выбраться из этой каши.

Егор даже себе не признавался, однако сосал его какой-то червячок. Кажись, в чужedomном этом городе не в чистое дело замешался. И чудно — злобится от этого не на себя, а на всех социалов. Что ж, говорят, и волк на ярку злой бывает, пошто подвернулась. Только какой он волк! Храбр за печью! Эх, кабы не нужда... А эти куда лезут? Ну, рабочие — это одно. А господа, сразу видать, сытые. Кусок хлеба есть. Кто их неволит?

Вон и ишло прутся. Молодцеватый студент, который вчера со стены царскую персону снимал. Он сразу в соседнюю комнату прошагал.

И опять знакомый. Белесый и волосы, как кудель. Хоть и не на ветру, а все едино — не лежат. Тот самый, какого с лесозавода вышвыривали. Десять! Где ему боле и быть!

И вот ишло один. Этот крепыш в Народном доме надысь орал: «подаренная», «подаренная».

Глазами сверкнул и тоже в соседнюю комнату — шварк. За дверью скрылся.



Ах ты! Сызнова знакомец! Да он, Егор, выходит, чуть не всех социалов знает! Тот самый, очный свидетель, флотский с Черного моря.

— Кого ждем? Пора начинать!

Это лесозаводский выкрикнул.

Дверь из соседней комнаты приоткрылась, и крепыш ответил:

— Сейчас, сейчас!

Через минуту он и вслед за ним еще двое — сухорукий, что тоже в Нардоме говорил, и студент притиснулись к столу.

Крепыш первым заговорил. Теперь он не шумел, как вчера, вкрадчиво внашал. Выпуклый его лоб желтел над лампой.

— Момент сейчас редчайшей исторической, сложности. Впервые в России самодержавие вняло гласу народному. Дарована конституция. Мы собрались здесь, чтобы определить свое отношение к этому великому и многожданному акту власти. Мы собрались подискутировать и помечтать, как эффективнее, плодотворнее использовать обретенные ныне вожделенные свободы.

Егору нравилось, как внашал крепыш. Округло, гладко, успокоительно.

Студент после него не так говорил. Шибко горячился. Объяснял, как стоят дела в России. Что творится в ней, матушке! Егор и помыслить не мог такого. С самого января народ бунтует. И в столице, и в разных городах, и в царстве польском кровушка льется. Где под распыл пустили, где под лед загнали, где казацкой нагайкой голову разможжили. Даже в Томске и то в январе казаки рабочего Кононова убили, он впереди народа красное знамя нес. В мае ткачи в Иваново аж три месяца бастовали. В польском городе Лодзи восстание было. Более тысячи людей убито и ранено. Крестьяне всюду бунтуют, землю помещичью требуют. К осени того пуще. Вся Россия пожаром занялась. В Москве рабочие бунтуют, Питер им поддержку дает. Потом железнодорожники на забастовку пошли. Чуть не по всей земле российской поезда стали. А дальше — уж все бунтуют. Куда ни кинь — заводы стоят, фабрики стоят, студенты не учатся, конторы разные заперты. Всеобщая стачка называется.

Егор хотя и осуждал социалов, а все же подумал: «Весь-то народ умом не мог тронуться. Пошто ему зазря клокотать? И крестьянину, понятное дело, земля нужна и лес нужен. Но опять, как супротив царя-батюшки идти? От века он и от бога...»

Пока Егор раздумывал, между социалами шум поднялся.

Студент все к одному подвел: движение народное приняло такие размахи, что царь испугался. И не даровал он этот манифест, а народ у него силой манифест вырвал, деваться ему было некуда.

Крепыш не соглашается, на своем стоит: у большевиков, дескать, примитивное понимание текущего момента. И в правительстве есть силы, понимающие необходимость реформы...

И дут многие повскакали с мест. Егор только ловил обрывки фраз: «Национальные интересы!..», «Буржуазия их давно предала», «Нужна революция», «Придете к анархии, к пугачевщине», «Это вы, меньшевики, от демократии к титулованному пройдохе господину Витте поспешаете», «Последнее потеряем!», «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей!»

У Егора голова кругом идет. Неужто этот сухорукий, и студент, и чахоточный пинокат, и девка, на Нюру похожая, — она тоже все кивала, когда сухорукий свое доказывал, неужто они все врут? А, может, артист врет — верткий шибко?

Парень злился на себя. Ему-то что? Его дело десятое. Знал всегда топор да пилу, лопату да метлу. Умел за плугом ходить. А вот — на тебе! По сборищам, по толковищам разгуливает! Да еще чего-то понимать поровит. Уж коли попал в эту суету, так надо хозяина держать-



ся. Ему надобно прознать, что социалы станут делать. И тогда он красненькую получит.

Сухорукий будто для него заговорил:

— Напрасно господа меньшевики, — он кивнул в сторону крепыша, — обольщаются царским манифестом. О какой свободе всерьез можно вести речь, если в стране фактически власть находится в руках жандармов? Мы, большевики, будем выполнять решение третьего лондонского съезда нашей партии, твердо держать курс на вооруженное восстание.

— Это безумие! — кричит крепыш.

— Народ за вами не пойдет, — поддерживает его басок из темного угла комнаты.

— Еще как пойдет! — кричит рабочий с лесозавода. — Еще как пойдет! — И кудельные его волосы встанут дыбом.

— Тебя-то, кажись, с завода с музыкой выперли? — не унимается напористый басок.

— За то мы своего любимого Михал Феофанчыча, ни дна ему ни покрышки, — крикнул пимокат, — на тачке вывезли!

Сухорукий терпеливо дождался тишины, повторяет:

— Мы будем держать курс на вооруженное восстание. И сейчас наша задача — срочно создать и вооружить боевую дружину. Я прочту вам, что пишет по этому поводу товарищ Ленин.

— Читайте, Антон Семенович! — просит студент.

Антон Семенович левой здоровой рукой достал из кармана бумагу, разгладил ее на столе.

«Немедленное вооружение рабочих и всех граждан вообще, подготовка и организация революционных сил для уничтожения правительственных властей и учреждений — вот та практическая основа, на которой могут и должны соединиться для общего удара все и всякие революционеры». Крепыш снова вскакивает:

— Ленин, конечно, становится ббльшим авторитетом. Статьи его по прокламациям расходятся. Но ведь это было сказано до манифеста. До! А теперь, когда дарованы политические свободы...

— К тому же у нас есть боевая дружина, — вставляет неумный басок.

— Слезы, а не дружина, — первый раз подает голос матрос.

И опять поднимается шум. Одним позарез дружину надо, другие не могут понять, на что она, с кем драться?

— Товарищи! Товарищи! — встает русокошая девушка.

«Не такая уж она смиренная!» — думает Егор.

— Я сама была на вечере Максима Горького в Нижнем. Входной билет стоил пятьдесят копеек. Весь сбор пошел на покупку оружия.

Антон Семенович подтверждает. Горький пожертвовал на вооружение боевых рабочих дружин пятнадцать тысяч рублей.

Крепыш, сложив руки на груди, насмешливо этак глядит на Антона Семеновича.

— Вы, я слышал, на войне за храбрость солдатский знак отличия получили?

— Мне казалось, милостивый государь, что моя биография к данному спору отношения не имеет.

— Мне тоже так казалось. Но я вижу вы разочарованы в скромной профессии речного механика. Вам хочется стать главнокомандующим.

Смешок пробежал по комнате легкой рябью.

— С кем вы будете воевать в нашем городе?

Антон Семенович бережно свернул левой рукой листок, где были написаны слова Ленина, положил его в карман и спокойно ответил:

— А сейчас мы это проясним. Сейчас. Телеграфист здесь?

— Так точно, — по-военному ответил рослый бородач.



— Прошу вас, прочтите сообщение о событиях в Томске.

Бородач протиснулся к столу. В руках у него была записная книжка.

— Сообщение такое, — начал он, и все подались к нему, впились в него глазами. — «Двадцатого в кафедральном соборе епископ Макарий произнес проповедь. Во многих городах церковь благословляет христоролюбивое войско и всю паству свою на битву с крамолой. Макарий благословил томских патриотов в кавычках на избивание жидов, социалистов и особенно главных врагов престола — большевиков. Воры, бандиты, бродяжня, обманутые рабочие, ремесленники, мелкие лавочники с дреколем, ножами, гирьками, кастетами, часть с огнестрельным оружием и с царскими портретами направились к зданию Городской думы. Избивая в пути тех, кто в очках и шляпах, выбили окна, переломали мебель в здании думы. Попытались окружить демонстрацию рабочих, студентов, представителей прогрессивной интеллигенции. Демонстранты укрылись в здании Управления железной дороги. Там в день получения жалования было много людей, в том числе женщины с детьми. Живьем сгорели, убиты при попытке выскочить в окна более ста пятидесяти человек. Продолжаются грабежи, насилия, убийства на улицах города. Полиция, войска на стороне погромщиков».

— Вот так, товарищи! — подводит черту Антон Семенович. — Видите, какие человеческие жертвоприношения свершают верные слуги царя и отечества? Кто поручится, что и в нашем городе не готовятся к выступлению черносотенцы?

Все теперь повернулось иначе. Матрос записывал добровольцев в рабочую дружину.

Егора опять мучила совесть. Неужто людей живьем жгут? Что же это делается такое?..

— А чем поможет нам деревня? — спросил вдруг Антон Семенович?

Поднялся мужик в поношенной военной гимнастерке:

— С нашей деревни Ересной большой подмоги не дадим. Мужиков наших на японской, как градом, повыбило. Но десятка полтора придем, только кликните.

— Чем вооружены? — спросил матрос.

— Есть кой-чего. И «смиты», и браунинг один бельгийский. Ну, и дубье согдится, коли врукопашную пойдем.

— Спасибо, товарищ.

Поднялся старичок из Михайловки. Сам с ноготок, а борода седая по пояс. Заявил: они, михайловские, ереснинских завсегда переплюнут. Так что ежели ереснинские полтора, то михайловские не менее двух десятков выставят.

Что же он-то, Егор, скажет?

Белоярский мужик, тоже с бородой, но молодой еще и крепкий, сам не зная того, помог Егору.

— А вот мы, как есть темные, белоярские, так что не судите скудость нашу, однако спросить антирес имеем, вот, скажем, если нам понадобится, придут к нам городские?

— Разумеется, — ответил Антон Семенович.

— Спасибо вам, — крестьянин низко поклонился, чуть пол не подмел бородой. — Ежели так, то и мы, белоярские, понятно, завсегда готовы помочь. Мы городских уважаем, куды нам без городских.

Однако напрасно матрос спрашивал, сколько людей белоярские могут выставить, да и выставят ли вообще. Мужик ни одной цифры не назвал, а все то же долдонил, что помочь они готовы, завсегда и с полным уважением.

Так ничего от него и не добились. И тут матрос спросил:

— Кажись, кто-то из Гоньбы был?

У Егора голос перехватило:

— Мы — из Гоньбы.

— Сколь вас?

— Да один я.

И, не дожидаясь, когда спросят, высказал:

— Не знаю, кого мы выставить можем. Мужики мне не наказывали.

— А что же они вам наказывали?

— Послушать.

— Как так? Мы же всех упреждали, всех просили прикинуть.

Егор переминался с ноги на ногу, не находил, что сказать.

— Еще один хитрец, — сказал матрос.

Весь съежился Егор, толстоватые губы вытянулись. Казалось, еще минута — подбородок задрожит и парень заплачет. Столько растерянности и страдания было на его лице, что русококая девушка не выдержала:

— Он не хитрец, — негромко сказала она, — разве не видите?

Сердце у Егора нестерпимо заняло. Пошто он стал Иудой? Пошто людей обманывает? Выплыли из памяти отцовские слова про одного генерала, какой Порт-Артур сдал: «Иудин грех не прощается!» А девка какая! Душа у нее, сразу видать, чистая. Людям верит...

— Он-то, может, и не хитрец. Да другие там, видно, хитрят, — жестко сказал матрос. И помягче добавил: — Ладно, садись, мужик. После разберемся.

Дальше Егор слушал, как во сне. Не мог успокоиться, унять дрожь в коленях. Решил: больше на такое не пойдет, лучше сбежит от Его Макса. Бог с ними, с деньгами. Услышал, однако, что завтра на десять утра назначается демонстрация на Колыванской площади, а на два часа — сбор дружины в Народном доме.

## 9.

Не успел Егор открыть двери флигелька, как артист набросился на него с вопросами:

— Благополучно сошло? Не разгадали тебя? Что социалы готовят?

Парень отвечал нехотя.

— Ты чего ж, тезка, будто вареный? Тебе, чалдону, плясать надо от радости. Большое дело сделал и награду заслужил!

Егор тускло пробормотал:

— Вроде как Иудой выхожу, душепродавцем.

— Ах вот оно что! — Артист сразу помрачнел, зло сузил глаза и поджал губы. — Чистеньким хочешь быть. На вот тебе красненькую. — Его Макс бросил десятирублевку на стол. — Только не забывай — нельзя и капитал приобрести, и невинность соблюсти. Что-то одно надо.

Егор ничего не отвечал и деньги не брал.

— Бери, бери, пока дают, — торопил артист. — Клади в карман, а зашьешь после. Сегодня нам некогда. И спать не придется. Сейчас уходим.

По ночным улицам Его Макс привел Егора к невысокому, невзрачному домишке. Зашли во двор.

— Подожди здесь.

Ждал недолго, минут пять. Раздумывал, кто же здесь живет, в этой халупе, и на што его сюда привел артист. Вот морока-то. Все люди спят, а он, Егор, все шастает, бедоноша. Взять да удрать от них ото всех. И от артиста, и от социалов энтих. Нельзя! Деньжат набрал на цельную корову и поболее...

Через тесные сени артист провел Егора в маленькую горенку.

Пахнуло теплым запахом скотского пригона. «Верняком телок жи-



вет», — определил Егор. И чуть не ахнул от удивления. За скобленным столом на широкой скамье сидел Кузьма Прокопьевич.

Да неужто такой барин в экой тесноте и убогости проживает? Видать, так и есть, потому что Кузьма Прокопьевич по-хозяйски пригласил садиться. Расспрашивал Егора неторопливо, с участием. Вдохнул даже раза два, поведя этак горестно-длинным своим носом. Дескать, понимаю, туго тебе пришлось.

Выслушав до конца, заметил:

— Видишь, как оно получается. Пришлось тебе соглядатаем заделаться. Ничего не попишешь! С волками жить — по-волчьи выть. Сам чуешь, чего они хотят — власти хотят. Оттого и кричат — вооруженное восстание! Но, Егор, сам рассуди: можно ли им власть давать, коли они, еще не получив ее, успели уже между собой передрасться?

Его Макс заторопился, из кармана часы вынул, по стеклу постучал. Мол, нам пора. Егор подивился: когда он мог часы приобрести? И цепку через живот пустил. Прямо, как Родион Силыч. Ну хват!

Однако барин беседовать не бросил. Только сказал:

— На своего человека время жалеть не в моих правилах. А за труды — вот, прими от меня.

И вынул синенькую.

Егор начал отказываться. Он уже от артиста получил.

— Это меня не касается, — отрезал Кузьма Прокопьевич. — А деньги еще никому не мешали...

И опять артист вел Егора по ночному, заснувшему городку.

На этот раз подошли к барским хоромам. Дом просторный, не меньше, чем у протоиерея Анемподиста Водовского. Окна высоко стоят, замысловатой резьбой хвастают. Артист до ставня дотянулся, постучал. В комнате залаяла собака, и почти сразу же отворилась уличная дверь.

— Мы к Виктору Елизаровичу, — сказал артист.

— Черти вас носят, — прокряхтел неприветливый, скрипучий голос. Егор увидел в дверях низкорослую горбатую старушонку с огромной мокрой тряпкой в руках.

— Вот как огрею тряпкой-то, — кряхтела старушонка. — Только пол вымыла, а они будто караулили...

Из глубины холодного коридора послышалось:

— Старая карга! Когда я тебя отучу людей мытарить?

Голос показался Егору на удивление знакомым.

Вошли в дом, и Егор, хотя с утра повидал столько диковинного, что должен был попризывкнуть, едва не вскрикнул. В теплой прихожей их встречал тот самый барин, какой посылал его с запиской на пристань и велел оставить узел в своей конторе. Одет он был не в медвежью полудошку, а в домашний халат, но Егор сразу узнал его. И хозяин узнал неожиданного гостя.

— Знакомая фигура! Неужто явился благодарность принести за науку?

Его Макс ошеломленно спросил:

— Разве... вы... знакомы?

— Доводилось. Я у него однажды узел увел с барахлом. Так, мелочишка. Операция больше в педагогических целях. — Виктор Елизарович помолчал и жестко добавил: — Однако не одобряю, когда потерпевшие в мою резиденцию являются.

Его Макс поспешно заюлил:

— Что вы, Виктор Елизарович. Не берите во внимание. Он же не знал, к кому идет.

В горнице Виктора Елизаровича все сверкало, слепило. Широкая, крытая красным ковром кушетка и огненный ковер на стене и почти

такого же цвета половик на полу, картина в переднем углу — русалка, обнимая, тянет в водную пучину молодого красавца.

Картина шибче всего покорила Егора: заместо иконы — голая баба с грудями. Где это видано?

Хозяин пригласил садиться. Бабке в дверь крикнул:

— Слышь, ведьма, подай-ка нам чего-нибудь.

Бабка явилась мигом с подносом в руках.

Виктор Елизарович разлил по рюмкам коньяк.

— Виктор Елизарович... — начал было артист.

— Зовите запросто — Витей или Витькой. Меня так весь город зовет. — Не то шутя, не то всерьез бахвалясь, добавил: — Я ведь популярен.

— Витя! Мы к вам за помощью...

Артист объяснил. Социалисты всех мастей обнаглели: бунтуют, поносят царя, святую веру и призывают к революции.

— Там мои люди не работают, — недоумеваю, заметил хозяин.

Его Макс только кивнул коротко.

— В Народном доме портрет царя в уборную отнесли. Песни крамольные распевают. И самое главное — власть грозятся захватить.

— Так-с, — снова заговорил Витя. — Содержательный обзор событий, но не пойму, каким боком...

— Сейчас поймете, Витя, — перебил артист. — Поймете, каким боком это вас касается.

Но Витя неожиданно объявил:

— В политику не вмешиваюсь.

Артист сразу даже не нашел, что сказать. Однако, помолчав, намекнул, что купцы перед Витей в долгу не останутся. Есть возможность и аванс выдать.

Тот промолчал.

Артист решил, что дело на лад идет, повеселел маленько, стал и другие посулы давать. Отцы города, дескать, и на будущие времена не забудут. А сумы у них толстые, связи крепкие.

Витька неожиданно прервал его. Разлил коньяк по рюмкам:

— Прошу, господа, на посшок. Не могу боле вас держать. Час поздний. Благодарю за посещение. А кто вас послал, тем передайте — адресом ошиблись. Вам в ночлежку надо — к Веньке-кусочнику. Он своих пьяниц да побирух соберет — вам в самый раз будет. А Витька, так и скажите, в грязные дела не встает... Так что — валийте. Даниловна, проводи!

Старуха и на этот раз вынырнула, как из-под земли.

— Чо, — закричала она, — не солоно хлебавши! Витька-то он, как еж, его голой рукой не возьмешь. Ну, скатертью дорожка. Почаще мимо нас...

## 10.

Возвращаясь с Настей с конспиративной квартиры, новый Голиков переживал чувство полета. И хотя на сей раз в конце дороги не предстояло даже краткой разлуки, хотя они с Настей шли к нему домой, Иван лелеял в себе это, рожденное его фантазией, ощущение небывалости и бесконечности их собственной, особой тропы. Даже не смотрел по сторонам, упорно не желая узнавать намозолившие глаза однообразные силуэты домов.

А тот, необновленный знакомством с Настей, посмеиваясь над восторженной сентиментальностью своего неожиданно народившегося двойника, анализировал увиденное и услышанное на собрании. У полнового крепыша (Иван знал его — преподаватель истории в реальном училище) и фамилия-то шумная — Шумиловский, так и сквозит плохо скрытое стремление к лидерству. А этот Антон Семеныч! Ему тоже,



наверно, палец в рот не клади! Все они идейные, да только идеи-то для них экипаж, на котором въезжают в страну собственного благополучия.

И тут, всегда лишь обороняющийся, новый Голиков оскорбился и возмутился. Как можно так думать, видя перед собой выстрадавшую убежденность, и сухорукого Антона Семеновича, и этого одержимого матроса, и чахоточного пимоката! Наконец, этой ясной чистой девушки... Именно этой ясной... иронизирует необновленный Голиков-первый. В ней-то все и дело. Через нее большевиком станешь.

Нет, большевиком он не станет. Это не в его характере. Достаточно того, что он будет честным поэтом. Поэзия — его молитва во спасение и его самого и многих других. В том числе Настеньки.

А Настя или поняла его настроение, или тоже оказалась во власти раздумий, но шла молча, опираясь на руку своего спутника, неся в другой маленький томик стихов.

Иван усмехнулся, вспомнив оплошку, которую он допустил с этой книжкой. Ее передал Насте Антон Семенович. На титульном листе стояло: «Стихотворения Алексея Николаевича Апухтина с портретом, факсимиле и биографическим очерком». Иван, не подумав, бухнул: «У меня есть такая книга». Ему никто не ответил. Только Антон Семенович с Настей переглянулись. И Голиков понял, что в книге содержится нечто помимо стихов Апухтина. Может быть, просто под этим титулом переплетены противопрительственные сочинения...

К досаде Ивана, и обратная дорога кончилась быстрее, чем ему хотелось. Вошли в темную комнату. Иван начал искать спички, они, как на грех, не находились. Суматошно мечась, Голиков смахнул со стола чашку, она с треском раскололась. Молодые люди рассмеялись. Наконец, спички нашлись. Загорелась лампа.

Иван помог Насте раздеться.

— Будем ужинать?

— После. Сейчас я буду заниматься черной магией. — И стала нагревать листы над лампой.

Иван смотрел на ее сосредоточенное лицо, маленькие с тонкими удлиненными пальцами руки. Никогда неиспытанные чувства захватили его. Голиков был уже не так молод — двадцать восемь лет. Встречал женщин, которыми был увлечен, изредка сближался с ними. Но ни одна не вызвала у него такой доходящей до сентиментального умиления нежности и такой острой, пронзительной тревоги. Он смотрел на язычок пламени в керосиновой лампе и видел: рвалось, металось другое пламя; горело огромное здание, и из окна выскакивала Настенька, а огромный детина с кастетом в руке, мрачно улыбаясь, поджидал ее... И еще почему-то возникал военный строй — опетинив штыки, с непроницаемыми каменными лицами стояли здоровенные кражистые солдаты, и прямо на штыки шла девушка в синей легкой блузке, и ветер трепал ее светло-русые волосы...

Листы книги нагрелись, и между строками проступили написанные молоком буквы.

Настя обжигала — это письмо из тюрьмы. Привезли для нее из Новониколаевска.

«Наверное, от жениха или от мужа», — подумал Иван. Снова сник, почувствовал усталость от этого длинного странного вечера.

Девушка угадала его состояние.

— От брата, — сказала она.

Прочитав письмо, помрачнела.

— Мерзавцы! До сих пор не предъявили обвинения. Сидит больше трех месяцев.

«Значит, у нее и брат по этой дорожке...»

Настенька рассказала. Было это в Самаре. Поселились в одном особнячке молодые супруги. Писали от руки, распространяли прокламации марксистского направления. Социал-демократы об этих лист-



как знали, но на сближение с авторами не торопились, присматривались к ним. Однажды среди бела дня нагрянули охранники. Революционеры стали отстреливаться. Мужчина в перестрелке был убит, женщина бежала и нашла приют у большевиков. Естественно, она пользовалась полным доверием.

А все это оказалось жандармским спектаклем. Мнимые брат и сестра были агентами. И охранка не пожалела одного своего агента, чтобы внедрить в большевистскую среду другого. Женщина эта «отдала», как выражаются жандармы, все руководство партийной организации. Там же, на явочной квартире, где были арестованы подпольщики, нашли динамит.

Устроили засаду. Настенькин брат пришел за листовками. Быстро поняв в чем дело, нашелся, спросил, не здесь ли проживает скорняк Федот Васильевич Рыжих. Документы оказались в порядке, тем не менее его арестовали. Обвинить до сих пор ни в чем не могут.

— Хоть весточку подал! — продолжала Настя. — Надзиратели, пишет, сильно следят. Приходится чернильницы съедать.

— Как? — удивленно спросил Иван.

Настя засмеялась.

— Чернильницей для политзаключенного служит кусок хлеба-мякиша. Его лепят в форме сосуда. Внутрь наливают молоко. Чуть скрипнет глазок в камере или надзиратель ключ в дверях повернет, чернильницу моментально съедают.

— И ведь несколько страниц исписал таким образом! — удивился Голиков.

— Здесь он о Ленине пишет, — раздумчиво произносит Настенька.

— Слышал о Ленине. Но знаю о нем мало.

Настенька изумилась. Неужели он, поэт, не знает о Ленине?

— Хотите, я вам прочту, что пишет брат?

Настенька наклонилась над книгой Апухтина.

— «Дорогая моя, прекрасная, совершенная сестренка!..» Ну, это можно упустить... Вот... «Советую тебе как старший брат — иди за Стариком». Стариком у нас зовут Ленина, — оторвавшись от письма, объяснила Настя.

— Он старый?

Настя засмеялась:

— Ленину сейчас тридцать пять лет. А прозвище пристало к нему десятилетие назад. Друзья хотели подчеркнуть его широкие познания, осмотрительность, основательность суждений. Однако слушайте дальше. «Я многое передумал здесь в одиночке. Старик из тех, кому принадлежит будущее».

Негромкий стук в окно показался грохотом.

За окном кто-то стоял. В темноте не разобрать.

— Может быть, к вам? — спросил Иван.

— Никого не жду.

Настя ушла за печь-голландку, быстро вырвала листы из книги, резко порвала. Принялась растапливать печь.

Стук повторился, негромкий, но настойчивый.

Голиков открыл форточку.

— Выдь на минуту, господин Голиков. — Хрипотца Филькин Дракона.

— Долго чухаетесь! — возмутился Филька. — Думаете, похвалят меня, коли здесь увидят. Чо вас потащило на толковнище-то? Без вас тама-ка не обошлись. Ну, шастал бы один по крайности. А девку-то пошто поволок! Девку-то...

— Вам это... известно? — растерянно пробормотал Иван.

— Кумекать все ж таки надо. Думаете, тама-ка наших не было?

Уводить ее надеть.

«Куда же мне ее увести?» Перебрал в уме близких знакомых.



Припомнил давнего товарища из пимокатной. Худенький, большеухий, раскосый, напоминавший зайца. Тоже Мишка, только совсем непохожий на Курмачева. Их так и звали: Мишка громкий и Мишка тихий. Ильин был тихий, ни во что не вмешивался. Когда рабочие ругали хозяина — молчал, а то и уходил куда подальше.

— Хорошо, Филя, спасибо.

Протянул Дракону ассигнацию.

Филька руку с деньгами отвел.

— Дракон два раза на дно не берет.

Миша Ильин жил далековато, в той самой зайчанской части города, происхождение названия которой когда-то Голиков объяснял Настеньке. Избушка маленькая, осевшая набок. Окна без ставней.

Отворил сразу.

— Никак Голиков Ваня? Да не один. Проходите, гостям рады.

Иван с Настей сели на лавку.

Старые приятели с любопытством оглядели друг друга.

— Ишь, как переменялся, барином стал! — протянул Ильин.

Голиков ничего не сказал, только подумал, что Мишка мало изменился — такой же худой, нескладный, большеухий.

Объяснил причину своего появления.

Мишка обрадовался:

— Стало быть, и ты с нами!

Из-за перегородки вышла жена Ильина. Тоже худенькая и тоже чуть раскосая.

— А я от вас флаг прятала, — вместо приветствия, улыбаясь, сказала она.

Оказалось, она из лоскута красного ситца шила флаг для завтрашней демонстрации.

Голиков усомнился: если Миша Ильин с революционерами, можно ли у него оставить Настеньку? Ильин успокоил: у него можно. Слежки за ним вроде еще нет.

Иван посмотрел на старого приятеля, усмехнулся:

— Никогда не думал, что ты, Миша, и вдруг против царя.

— Что царь! Царь — это пустотень, — махнул рукой Михаил.

— Ну, все едино, против правительства.

— Будешь против, ежели жизнь такая.

Настенька вышла в сени проводить Ивана.

— Ну, всего вам наилучшего. Извините, если что не так.

«Черт возьми, какую чепуху мелю, обыденщину, — корил себя Иван. — Позорно в таком положении. Неужели не найду что-нибудь более значительное сказать?»

— Все так, все так, — прошептала Настенька. — Спасибо.

Надо было уходить, но Иван не мог сдвинуться с места.

— Удачи вам! — тоже почему-то перешел на шепот. — Берегите себя.

— Спасибо.

Помолчали. И Иван повернулся наконец к выходу.

— Иван Иванович, — позвала Настя. — Я ведь тогда сильно жалела, что мы так быстро разошлись... Не познакомились.

— Я тоже... Я тоже сильно...

Настя обвила его шею, легко коснулась губами его губ.

Всю ночь Голиков не мог уснуть.

Забылся только под утро. Но вскоре проснулся от шума. По улице шли демонстранты. За окном плыли красные флаги. «Среди них и то, которое Миши Ильина жена шила, — подумал Иван. — Как-то там Настя?»



## 11.

Егор поднялся поздно. Заглянул в комнату — артиста не было, ушастал куда-то. Теперь, когда туман разошелся надо всем вчерашним, шибко сделалось Егору не по себе. С кем он связался? Вор Витька и тот в грязные дела не встревает. Один Венька-кусочник прекословить не стал. Егора передернуло всего, когда он вспомнил, как ходили к этому Веньке.

Ночлежка притулилась в самом конце городка, под гряденом — прибрежным возвышенным местом. Тащились туда целый час.

Егор отворил дверь низкого, уходящего в глубь двора дома, в нос шибануло зловониями, гнилью. Тяжелый воздух дрожал от храпа. Егор отпрянул, попятился, чуть не сшиб с ног поспешавшего за ним Его Макса: у стола перед свечой сидела покойница. За темными мешками стекленели стылые, неподвижные глаза. Глубоко ввалились бескровные щеки. Из-под рваной фуфайки торчала тоненькая, будто у только вылупившегося птенца, шея, сухими будильями выпирали костлявые плечи.

«Покойница» вдруг заговорила:

— Чего двери росперли? Не лето, пастью наружу сидеть! — Голос глухой и хриплый. Видно, немало выпито.

— Бабушка, — начал было Его Макс.

— Какая я тебе бабушка? Мне еще тридцати нету. Смертью меня кличут. Да вот она-то за мной не приходит.

Его Макс сунул чахлой этой бабе пятиалтынный. Монета пропала в складках заплатанной юбки. «Словно голодная собака кусок мяса слотнула», — подумал Егор.

Женщина повела их через спящих вповалку. В темноте они запинаясь, наступали на руки и ноги. Ночлежники сонно матерились вслед.

Постучала в тонкую дверцу.

Венька спал в отдельном безоконном закутке, раньше, видать, служившем кладовкой. Проворно вскочил, зажег свечу. Росту оказалось небольшого, верткий, лысоватый. С тонкими усиками. Говорил с присвистом: в двух местах не хватало передних зубов. Все повторял:

— Сию минуточку. Сию минуточку...

«Официантом был», — решил Егор.

Артиста Венька-кусочник понял сразу. Спросил:

— Сколько людей потребно-с?

— Полста найдешь?

— Найдем-с. Можно и поболее. Какова будет плата?

— Оборванцы твои — что добудут. А тебе — катеринку. Еще и угощенье всем выставим.

— Как насчет-с аванса?

Артист сунул ему несколько бумажек. Венька-кусочник угодливо поклонился.

Но Венька не был официантом. Обратной дорогой Его Макс об-сказал про него.

Венька у чуйца одного служил. Венькин хозяин богатенький был воротила. Ойротцев охмурял да спаивал. И в Монголию, и в Туву пробирался. Балакать наострил на разных языках, чужие обычаи знал. Пока хозяин в разъездах, хозяйка Веньку обучает, как ему про гостей докладывать, как кого встречать. Дообучала, что Венька к ней в постель залез. Вместе сообразили чуйца какой-то травкой опить. На том и попались. Венька вывернулся, а купчиха на каторгу угадала. Запил Венька горькую и попал в ночлежку. Но по времени в себя пришел, хитрость в нем проснулась. Всю ночлежку подмял. От каждого себе кусок урвет. Оттого и прозвали Веньку — кусочник...

«Вот и нынче, — корежась от гадливости, думал Егор, — урвет

Венька свой кусок. Будут ночлежники, пропойцы, воры грабить людей. И он, Егор, причастный к тому. А пошто все эдак-то? Оттого, что некуда податься. Хоть в ту же ночлежку иди. И ежели бы он два дня назад, до того как взял его к себе на службу сначала Василий Васильевич, а после Егор Макс, знал про ночлежку, то и пошел бы туда. Как пить дать пошел бы, холод бы загнал да и голод. Там, глядишь, у бедолаг корку какую выклянчить можно. Может, и воровать бы стал. Стырил же он ящик этот самый, с какого все началось. Нет, воровать бы не стал! Это так, на него затмение нашло.

И тут обожгла Егора новая думка. А что он сейчас делает? Как деньги добывает? Грешит, чтобы после каяться. И вспомнил: у него деньжищ-то сейчас — целых тридцать рублей! Как у хриstopродавца Иуды тридцать сребренников! Вот как подгадалось! Не зазря, поди...

— Опять деньги зашиваешь! Скопидом ты все ж таки, Егорий, тезка мой дорогой.

Егор и не заметил, как появился артист. Был он, сразу видать, в духе. Выпивши, но в меру.

— Дела у нас, Егорий, подвигаются, я бы сказал, автомобильно. Улавливаешь, что хочет изречь твой патрон?

Парень глядел на артиста ошалело.

— Неотесан же ты, тезка, извини за плохой каламбур, — засмеялся Егор Макс. — Ну да ладно. Мы тебя не за интеллект привечаем, отнюдь не за интеллект. Ежели хочешь знать, даже совсем напротив: интеллектуалы эти у нас вот где сидят! — Артист хлопнул себя ладонью по шее. — Из-за них, понимаешь, весь сыр-бор горит... Из-за них... Впрочем, материи эти сложные, отвлеченные и без градуса мы их опять же не разберем.

Окончательно сбитый с толку, Егор молча надевал рубаху, в которой были зашиты тридцать рублей.

— Не понять без градуса, — повторил Егор Макс. — Так что сбегай, дружище мой ситный, в ближайший погребок, возьми бутылочку лучше всего самой обыкновенной водки, и мы с тобой опрокинем по рюмочке и продолжим наше научное сидение, ибо именно так переводится с языка древних латынцев свистящее слово «сессия».

Егор Макс сунул Егору деньги, разрешил сдачу взять себе, но наказал не скудиться на закуски.

Выйдя на улицу, Егор оторопел. Премудрости подвыпившего артиста разом вылетели из головы. Навстречу из Народного дома, мимо которого он проходил, выскочил знакомый матрос с Черного моря. Матрос метнулся к забору. Увидев Егора, подбежал к нему: «Беги, браток, там засада. Черносотенцы наших ловят!» И снова к забору. Из Народного дома выкатилось трое черносотенцев. Моряк понял — перескочить через высокий дощатый забор не успеть — в спину ударят. Спиной к доскам прижался. Трое шли на него. В середине крижистый, колченогий. Один глаз мертвый, бельмастый. Другой — широко раскрытый и вроде смеется. А губы сжаты в ниточку, лоб нахмурен свирепо. Идет, на тонкую палку опирается, калечной ногой снег вихрит. Леший и леший, только хвоста не хватает.

К матросу первым подскочил. Из рукава черное метнулось. Егор сообразил — гирька на резинке. Матрос упал в снег. Неужто убил! Нет, гирька об забор шмякнулась. А бельмастый уже на снегу лежит. Матрос его за ноги дернул. Вскочил. Двух других друг об дружку брякнул, те аж заверещали. А из Народного дома еще двое выскакивают. Один из-за голенца ножик выхватывает кухонный.

— Эй, люди! Очумели, что ли? Оставить его!

Егор и не заметил, как из-за угла вывернулась кошева, запряженная серым в яблоках рысаком.

— Оставить его! — поглаживая окладистую холеную бороду, громовым голосом повторил закутанный в шубу с бобровым воротником



барин. — За углом социалы патриотов бьют, а вы здесь прохладаетесь. Марш туда!

Шпану как корова языком слизала. Скрылись за углом. И тут содеялось вовсе озадачившее Егора. Матрос вскочил в пролетку, и они исчезли с баринном, еще снежная пыль не улеглась. Гоньбинский протак раскрыл рот. Может, приснилось, может, и не было никого. Однако из-за угла, громко переговариваясь, возвращались драчуны. Шли вразвалку, лихо скособочась, руки в рукава полушубков и ватников, шапки набекрень.

Егор от греха перебрался на другую сторону. Вслед неслось:

— Где он, барин-то этот? Обманул, сволочь!

А Егора вдруг осенило: вспомнил, где слышал голос барский. Это же сухорукого того, Антона Семеныча голос. Он и был! Не зазря бороду ухоженную левой рукой гладил. Ловко ее присобачил, бороду-то, не дотумкаешь, что чужая.

В чем толк всего, что довелось Егору на улице увидеть, Егор Макс за бутылкой ему открыл. Артист опять губы поджимал и брови вскидывал. Важничал. В Народном доме сбор полагался рабочей дружины. Егор же об этом и упредил. Впрочем, пусть шибко не гордится — не один Егор. И от других узнали. Вот патриоты, слуги отечества, и решили этого сбора не допустить. Видно, немножко и поколотили социалов. И матросу бы без отметин не уйти: Да этот самый Антон Семеныч его спас.

Егор Макс подогревался водочкой и болтал без удержу.

— Слышал я про сухорукого этого. Большевик он. На Орловщине крестьян мутит. Казаки ему руку покалечили. Да, наверное, мало. Раньше-то скрывался, а теперь после манифеста на полулегальное положение перешел. Где открыто действует, где и маскируется. А бороды наклеивать да гримироваться — это они все мастера. Нашего брата, артиста, поучат.

Кто такие большевики — Егор толком еще не знал. Да и многого другого из речей Егора Макса понять не мог, но его мучила совесть. Он на социалов донес. Донес и тридцать сребреников получил. Вот они, в рубашку зашитые. А матрос к нему, Егору, подбежал упредить. Ах, Иуда, Иуда!

А Егор Макс пьяный, однако чуткий. Вперился в Егора глазищами. Что, тезка Егорий, закручинился? Опять за коммунистов печалишься? Ты, Егорий, имей в виду простую истину: у тебя только один на земле друг имеется, об котором ты денно и ночью заботиться должен. Знаешь, кто этот друг твой?

Егор недоуменно молчал.

— Не знаешь! А я тебя просвещу, и ежели ты это себе на носу зарубишь, то по прошествии времени скажешь самое пылкое спасибо некоему загадочному, прославленному в Европах азиатскому факиру и великому фокуснику, сиречь неистребимому Егор Максу. Лучший друг для тебя — ты сам. И сейчас предоставляется тебе единственный в жизни шанс. И ты, тезка Егорий, не пропусти этого шанса. Не исходи слюнями, а лови момент. И очень-то не задумывайся. Мыслить — не твоя сфера! — Артист устало потер глаза. — Человек один вскорости явится, тогда разбудишь. — И повалился на кровать.

Человек явился скоро. К удивлению Егора, это был не кто иной, как официант Василий Васильевич.

Официант вежливо поинтересовался, как Егору на новом месте, попросил разбудить господина артиста.

У себя на кухне Егор, особо того не желая, слышал всю их беседу. Поначалу артист закобенился: пошто, дескать, хозяин сам не явился, дельце, дескать, стоит того. А Василий Васильевич обходительно этак, но твердо: «Хозяин не могут-с. Поручили мне-с».

Артист еще поспесивился немного, приметно, боле для виду. Он,



мол, привык заключать договоры с первыми лицами, а не с заместными. У него, мол, в делах свои твердые правила.

Егору тут вспомнилось, как Василий Васильевич наклонился к артисту и требовал: «Деньги вперед-с». И еще спрашивал: «Господин Егор Макс, а по карманам можете?» Давно ли это было? А теперь Егор Макс в какой кураж вошел! Он и привык, у него и правила. А официант молчит. Терпеливый этот официант.

Но вот артист кураж откинул. И зачали они навроде как веревку каждый в свою сторону тянуть. Егор Макс доспевал, чтобы Василий Васильевич помене огреб за услугу, а официант, понятно, поболе за грабастать норовил. Известно, на базаре два дурака — один дорого просит, другой дешево дает.

И все долдонили: «услугу», «услугу». А в чем она, парень понял не сразу. Лишь после долгих торгов дотумкал. Толпа, стало быть, пойдет громить социалов, а люди из ресторана ее станут подогрывать. Кому чарку поднесут, кому шкалик сунут.

— Давайте прикинем, — убеждал артист. — Положим, в толпе будет сто пьющих. Бутылка водки стоит сорок пять копеек, а шкалик — двадцать три. Ежели вы на каждого по бутылке даже истратите, и то это только сорок пять целковых. А вы целый угол требуете. За что ж лишних-то двести рублей?

— Деньги лишними не бывают-с, — перечит официант. — К тому же-с другие расходы. Закуска-с.

— Закуски много не надо.

— Много не много, а по пирожку на рыло надо сунуть. Где, может, и по два.

— Ну и что! Вы за пирожки-то почему берете? По пятаку за мясные. А там можно какую часть и с капустой сунуть, и с картошкой, и с морковью — все сожрут. Стало быть, и накинуть-то надо какую пятерку.

— Хлопоты-с, — набивал цену официант.

— Ну, братец, за хлопоты две катеринки. Это, извини, меня, разбой.

— Хлопоты, господин артист, хлопотам рознь. Они ведь вполне могут и после продлиться.

На что тут официант намек дал — не только Егор, но и артист поначалу не понял. Тот прояснил. Сейчас одна горячка, потом, может, другая начаться. Сейчас социалов громить собираются, после погромщиков могут к ответу потянуть. Жизнь, она всякие примеры подает.

Егор Макс с этим несогласный остался. Социалы против царя идут, желают власть царя и влияние церкви умалить. Неужто тех будут к ответу звать, кто против бунтарства и непокорства?

И по голосу Егор понял: сызнова заважничал, персону из себя строить начал.

— В политике, Василий Васильевич, разбираться надо. Имущие власть поддержат монархию, но не анархию.

Василий Васильевич отвечал почтительно, в спор не входил, только насчет цены держался твердо. Егор Макс разные подходы делал. Давай, дескать, на ста пятидесяти остановимся, и полста я тебе кину, а полста себе возьму. Для твоего хозяина плата будет сто пятьдесят, а своим я в расход двести пятьдесят выставлю. Но официант опять поперек. Ему-де, хозяина обманывать не расчет.

Тогда артист взбеленился. В таком разе пушай хозяин сам приходит, буду с ним сделку заключать.

— Никак невозможно-с, господин артист, — упирается Василий Васильевич.

— Вполне возможно.

— Уверяю вас, невозможно-с.

Артист еще пуще беленится. Ажно на стену лезет. Что он за лицо такое, хозяин этот? Подумаешь, титулованная особа. Может, его сия-



тельство ниже своего достоинства полагает иметь дело с ним, с Его Максом?

Артист кулаком по столу брякнул.

А Василий Васильевич негромко, но настырно этак и даже на-смешливо:

— Не извольте волноваться, господин артист. Никто вами не пре-небрегает. И хозяин ресторана перед вами-с.

Егор тоже кулаком себя по лбу: как же он не мог дотумкать, что Василий Васильевич не простой официант. С чего бы тогда Кузьма Прокопьевич просил его принять Егора в ресторан? С чего бы он, ни с кем не советуясь, передал Егора артисту?

Его Макс оторопел:

— Хозяин! Вы — хозяин? Так почему же себя не за того вы-давали?

— А сейчас, господин артист, каждый себя не за того выдает. Кто поглупей, тот себя в чужих глазах возвышает. Лично я норовлю за умными гнаться.

Помолчали. И артист не задиристо уже, а сходно попросил:

— Полсотни все же скиньте.

— Полсотни скину, — согласился Василий Васильевич. И, помол-чав, добавил: — Ради уважения к вам, господин артист.

## 12.

Голиков с досадой отбросил бумаги. Убедился — сегодня не мож-ет ни писать, ни править сделанное ранее. Взялся было за «Поеди-нок» Александра Куприна. Вокруг этой новинки бушевали сшибки. Одни взахлеб кричали — автор дискредитирует армию, натравливает простой народ на христолюбивое войско и солдат на офицеров. Дру-гие пели дифирамбы. Талант! Ножом анатома вскрыл язвы больного тела. Неудивительно, что полк, описанный в повести, провалился на смотре. Царская армия так же проваливается на большом кровавом смотре японской войны.

Иван ждал свободного дня, когда сможет прочесть «Поединок» подряд. Раскрыл с трудом добытый сборник «Знание», где напечатана повесть. Но его хватило лишь на то, чтобы скользнуть взглядом по ав-торскому посвящению: «Максиму Горькому, с чувством истинной друж-бы и глубокого уважения». Нет, сегодня он и читать не может. Даже такую книгу.

Попробовал уснуть. Но сон бежал от него. Вышел на улицу. Мо-розно. Низко навис тяжелый туман. Ножевой раной проплывало крас-ное неестественно большое солнце.

Кто это спешит навстречу? Неужели Стремжицкий? Старый по-ляк не походил сейчас на бунтаря. Плечи ссутулились, борода сникла. Сызнова тот учитель музыки, какого Иван знал раньше.

— Я к вам, к вам! — объявил он. — Хорошо, что встретил на улице. Шел, колебался. Не навлечь бы подозрений на вашу нарзечену.

— Невесты уже нет. Идемте.

Стремжицкий, несмотря на мороз, предложил пройтись. Не успе-ли сделать несколько шагов, спросил:

— Помните такой бонатер, ну, герой у Лермонтова... Вулич! — Голос старика прерывался и дрожал. Иван удивился. «С таким волне-нием о каком-то Вуличе? Из-за Гекубы, что ему Гекуба?» Ответить не успел. Из тумана выплыла компания парней. В центре, чуть при-храмывая, опираясь на толстую палку, загребал снег коренастый с бельмом на глазу.

— Гу-ля-ете, го-спо-да, хо-ро-шие!

Тянул нагло, глумливо. От всего обличья пахло недобро, зло-веще.



— Что вам угодно? — сухо спросил Голиков.

Бельмастый не ответил, обернулся к своим.

— Они гуляют. Пушай гуляют. До поры...

Зловеще похохатывая, парни прошли мимо. Исчезли в тумане. Криво-красное солнце плыло им вслед.

— Это не темной ночью, — заволновался Стремжицкий. — Это днем. Белым днем. Поняли теперь, почему я о Вулице? Неужели не поняли?.. «...Мне казалось, я читал печать смерти на его лице». И дальше там: «...на лице человека, который должен умереть через несколько часов, есть какой-то странный отпечаток неизбежной судьбы...»

Сигизмунд Эдмундович остановился на тротуаре. О, его давно поразила эта мысль. Настолько, что он запомнил. Запомнил... как это... наизусть. Теперь пробил его час. Пришел черед проверить на себе. Такое... такую приметку лучше всего различит поэт. Вот он и спешил к Голикову...

— Что вы! — испуганно возразил Иван Иванович. — Откуда эти черные мысли?

Сам против воли всматривался в глубокие старческие морщины, нервный бессильный рот с покривившимися кариозными зубами. И мерещилось в этих чертах нечто неспособное противостоять превратностям жизни, нечто сломленное, уготованное концу. И дальше виделась крупная синева на щеках, чуялся сладковатый запах тления.

А рваная их беседа напоминала беспорядочный пунктир. Новая ватажка парней проплыла мимо. Среди них не было бельмастого, и они не сказали ни слова, но шли так же вызывающе медленно, как только что исчезнувшие в тумане, глядели так же неприятно, зло, бестыже.

«Наваждение какое-то!» — успел подумать Иван Иванович. Почувствовал на себе другой клейкий схватчивый взгляд. Оглянулся — в кошеве небыстро проезжал барин. На секунду взгляды скрестились. Барин поспешно уткнул в воротник большой с горбинкой нос. Голиков проводил его глазами. Даже под шубой-барнаулкой ощущалась прямая сухощавая спина военного.

Стремжицкого трясло, лихорадило, корежило. Зуб не попадал на зуб. Старик приглушенно вздохнул:

— Кузьма Прокопьевич... как, вам это имя ничего не...

Голиков крепко взял старика под руку, повел к себе. Отпоил крепким чаем, бромом и валерьянкой.

Поляк перестал дрожать, но не мог успокоиться.

— Кузьма Прокопьевич, — шептал, озираясь, как будто кто-то, кроме Голикова, мог слышать, — жандармское благородие. Фамилии не знаю. Звания тоже. Это, это трудно пшеказачь, передать. Был приглашен к нему на беседу. Дважды. Это не Филька-Дракон и даже не его благородие ротмистр Завьялов. Патриархальщиной здесь не пахнет. Новая формация. Живет в роскоши, а своих агентов на бедных явочных квартирах принимает. Я-то у него, конечно, в офисе был. Беседа без сантиментов, вообще без эмоций. Гольй расчет. У слов одна роль — скрывать мысли. По два часа беседовали. Ни разу не изволил повысить голос. О! — с тяжелым вздохом снова вырвалось у старика. — У него в кабинете ты — мышь. Понимаете — мышь. В кошачьих лапах. Лапы мягкие. Кошка с тобой играет, но каждый миг может когти выпустить. Бр... бр... — старик снова мелко задрожал. — Боюсь их, боюсь... Жандармы, они по всей империи. Они, как таежная мошка, — в ушах, в носу.

Нервно, с дрожью в голосе выталкивая слова, Стремжицкий перечислял жандармско-полицейские управления и службы: губернские, областные, железнодорожные, военные, фабричные, портовые, речные, волостные, сельские.



— Это еще не все. Охранные отделения — всеильная охранка в Петербурге, Москве, Варшаве...

Старик выпил еще лекарство. Но оно, как видно, не действовало. Сбивчиво, многословно стал извиняться за свое «совсем не мужское поведение». Его нельзя простить, но можно понять.

Мнилось, пришло время, годжина идей, за которые он, безумный, неприкаянный мечтатель, лишился отчины, близких, похоронил талант. Мнилось, пришло. И что же — сатрапы, варвары опять бесчинствуют, опять... Они подняли со дна жизни всю муть, накипь. Иван Иванович видел эти физиономии. Хлыщи! Питейные рожи, которым недостает только пьента, клейма. Он думает, это случайное randevu? Увы! Сигизмунд Эдмундович Стремжбицкий кое-что видел, кое-что знает. Он помнит времена угоды в царстве Польском. Тогда тоже со дна поднималась подобная муть. Польское панство сотнулось с русскими господами, а против народа поднимали вот таких же громил... Он многое помнит. Чует — вот-вот развернется пропасть, бездна. Темное, жуткое движется на всех честных.

Настойчивый стук в дверь.

Мутный тошнотворный страх Стремжбицкого передался Голикову. Вошел Ребров.

— Всегда так удивляетесь моему приходу, как будто я с того света. — Ребров пошутил без улыбки. Иван заметил, что за прошедшие сутки издатель успел похудеть. Щеки совсем ввалились.

— Вы к Насте. Ее... — начал было Иван.

Ребров прервал его. Про Настю он все знает. Пришел не за этим. Купцы, поны, чиновники перешли в наступление. Сегодня в городе впервые пролилась кровь. Поджугенная, подогретая спиртным местная шпана с утра засела в Народном доме. Хулиганы сорвали там сбор рабочей дружины. Подкарауливали и избивали рабочих. Двое попали в больницу.

— Вот... вот оно! Я чувствовал! — воскликнул Стремжбицкий.

Издатель сдержанно кивнул, всем своим видом показывая: сейчас не до лишних эмоций.

— Завтра мы устраиваем демонстрацию протеста. Ее, понятно, попытаются сорвать. Удалось узнать некоторые планы: после ранней обедни в соборе Воловский произнесет проповедь. Благословит «патриотов» на подвиги во имя царя и веры. Тогда все начнется по томскому образцу. Я пришел к вам, Иван Иванович, с просьбой от комитета РСДРП.

— Чем же я могу... в такой ситуации? — удивился Голиков.

Оказалось, именно в такой ситуации и понадобился поэт. Комитет выпустил листовку. Но в дополнение к ней нужны еще и стихи. Сатирические — о попе Анемподисте. Он ведь оратор, проповедник, надо ослабить воздействие его проповедей. А для сатиры поп — подходящий объект. Фарисей из фарисеев. Вещает о честности, бескорыстии. С виду суров и неподкупен, а на самом деле стяжатель. По мелочам не возьмет, но крупными подачками не брезгует.

— Павел Поликарпович! Но вы же знаете, что я не умею писать такие стихи.

— Как это не умеете? Как вы можете не уметь! — вмешался Сигизмунд Эдмундович.

Иван во все глаза глядел на старика. По логике, тяжкие вести должны были добить его.

Он, наоборот, ожил. Лохматя пышную шевелюру, округлив глаза, забегал по комнате. И взъерошенная борода торчала независимо, победно.

— Как может поэт не уметь! Пушкин умел. И в том числе про попов. Как это у него на Фотия:



Полуфанатик-полушлут;  
Ему орудием духовным  
Проклятье, меч, и крест, и кнут...

Или еще лучше на его любовницу графиню Орлову:

Благочестивая жена  
Душою богу предана,  
А грешной плотию —  
Архимандриту Фотию.

Впрочем, и покрепче есть:

Народ мы русский позабавим,  
И у позорного столпа  
Кишкой последнего попа  
Последнего царя удавим.

Стремжбицкий остановился против Голикова, грозя ему указательным пальцем, волнуясь и негодуя:

— Каждый русский поэт писал эпиграммы: Ломоносов, Державин, Жуковский, Батюшков, Баратынский, Дельвиг, Лермонтов, Некрасов, Тютчев, Апухтин. А господин Голиков, видите ли, не желают. Я уже имел случай заметить вам: какой же вы поэт, если в такую годину, такое время хотите отсидеться в четырех стенах!

Иван Иванович молчал. Думалось о том — почему каждый учит литератора? Даже сапожнику, если он, к примеру, шьет сапоги, но не умеет туфли, никто не скажет: «Какой же вы сапожник!» А тут... Впрочем, упреки старика мало задевали. Больнее уколот издатель.

— Сигизмунд Эдмундович прав, — сухо подытожил он. — Нет ярости, порыва. Оттого вы так мало работаете над стихами.

— Я мало работаю! — обиженно откликнулся Иван Иванович.

— Конечно. Вы сидите по утрам, пишете диссертацию на звание поэта. Но не достигает вас такое, когда к черту утра, вечера, ночи — всякое расписание. Когда это кромежно. Когда писать, как рожать...

Павел Поликарпович тоже встал. Тем же путем, что и Стремжбицкий, прошелся по комнате и с обидным для Голикова сожалением добавил:

— Не достигает! А знаете почему?

— Прелюбопытно! — изо всей силы стараясь сохранять спокойствие и даже выдавив улыбку, поинтересовался Иван.

— А потому, что настоящий поэт вдохновлен, чего там вдохновлен — одержим идеей, тенденцией. О чем бы он ни писал, он что-то утверждает, что-то отрицает, он стоит за что-то и против чего-то. А если так... — Издатель закашлялся, махнул рукой, перебил себя. — Честь имею. Завтра поберегитесь. Лучше всего уйти из дому...

## 13.

Егор с артистом поднялись рано, чтобы попасть в собор к заутрене. Проводив прошлым вечером Василия Васильевича, Егор Макс еще посылал парня за водкой и тот думал, что у прославленного в Европах азиатского факира с великого похмелья будет шибко трещать башка. Но «азиат» выдул ковшик огуречной жижи, на такой случай припасенной, оделся, причесался — и хоть в цирк с фокусами выходи.

Еще не рассвело. Звезды померкли, месяц стылым блином плыл в тумане. С разных концов доносился звон церковных колоколов.

Народу на улицах было немало. На площади, возле Колыванского столба, уже виднелись небольшие группки людей.

— Лезут недоумки в ловушку. Сами лезут. Никто их не загоняет, — не то насмешливо, не то сожалеюще проворчал Егор Макс.



На прилегающем к площади переулке народ ручейками двигался к поблескивающему золотыми куполами собору. Когда артист с Егором вошли под высокие своды, там уже было много людей. Полным ходом шло торжественное молебствие.

Егор сразу свернул в темный уголок. Ветхая старушка перед ликом Спаса клала земные поклоны и тихим прерывистым шепотом просила: «Услышь мя, царю небесный, услышь мя!» Парень огляделся. Священник в сверкающей ризе богатым сильным голосом размеренно, напевно произносил слова молитвы.

Егор сразу узнал его. Это был протонерей Анемподист, который вчера благословлял их с Егором Максом. Суровое лицо его в неровном свете показалось Егору далеким, отрешенным от земного, как лик самого бога.

Резной иконостас сверкал золотом. Горело множество свечей.

В центре храма молилась городская знать. Рядом с седым полковником виднелся горб и высоко вскинутая голова Родиона Сильча. Она и в церкви оставалась непоклонной. Егор подумал, что богач и молитвы сподряд не читает, и господе богу цедит по одному слову.

Узрел гоньбинский скиталец и других знакомцев. Позади Родиона Сильча стояли грузный хозяин лесозавода и длиннорукий Михаил Феофанович. Еще чуть позади — тут уж Егор так изумился, что и креститься позабыл, — увидел знакомую лысинку. Неужто это Венька-кусочник? Куда ж он залез, ночлежник, с господами рядом? Ужели ему тут-ка место! Господи! Да он не один! Здесь же стоял и тот леший колченогий, что вчера норовил матроса гирькой зашибить. А за ними, смиренно опустив длинный свой нос, молился барин Кузьма Прокопьевич.

Может, в городе так заведено, чтобы посреди господ шантрапа всякая мешалась. А у них в деревне возле паникадила всегда староста стоит, урядник, писарь, лавочник, другие, кто позажиточнее. С женами, понятно. Здесь, которые и без жен, ровно не на церковную, на иную службу пришли.

«Я-то что же! — спохватился Егор. — В церковь пришел будто нехристь какой, не молюсь, глазею, как на ярмарке». Стал усердно креститься и бить поклоны. Знал всего одну молитву, какой когда-то выучил его дед — гоньбинский пасечник. Ее и начал твердить:

«Отче наш, суший на небесах! Да святится имя твое. Да придет царствие твое, да будет воля твоя на земле, как на небе...»

Никогда не выикал в эти слова, не задумывался над их значением. Однако самый лад их обычно поднимал над мирской суетой, над обыденностью мелочных забот. Самый лад их настраивал на умиротворенную, чинную торжественность. Но сейчас не мог подавить в себе смутное беспокойство. Что-то тревожило, не давало войти в молитвенную колею, заставляло поглядывать на дюжью спину колченогого, лакейскую, будто вылепленную нарочито для поклонов, Веньки-кусочника.

Снова возвращал себя к молитве:

«Хлеб наш насущный дай нам и на сей день;

И прости нам долги наши, как мы прощаем должникам нашим;

И не вводи нас во искушение, и избави нас от лукавого, ибо твое есть царство, и сила, и слава вовеки...»

Церковное настроение не приходило. Не пришло оно, и когда с клироса понеслось стройное пение многоголосого хора. Хор провозглашал здравицу великому, мудрому, милостливому государю.

«Шибкий хор, благолепный, — подумал Егор. — Куда нашему, гоньбинскому. Да и то сказать — певчие-то, поди, на жалованьи, не то что у нас — добровольцы».

И тут же мысли понеслись в другую сторону: «Пошто эдак чудно люди живут? Одни в церкви собрались, другие — на Кольванской площади. Чего разделить не могут? Дело ли злоститься друг на друга, враждовать и даже драться... Быть может, они и собрались в церковь,



чтобы утишить вражду? Нет, не про то говорил артист, когда шли мимо площади, не на то благословлял протоиерея!».

А отец Анемподист уже наполнил собор своим оттенчивым голосом.

— Чада мои возлюбленные! — негромко, но так, что было слышно во всех углах просторного храма, начал он. — Чада мои! Что скажу я вам сегодня, пастырь ваш недостойный, наставник неумелый. Может, речение мое окажет себя малоумным и убогим, паче того — неблагоприятным. Тогда простите меня грешного в помышлении моем.

Слово священника завораживало тем же складом, что и молитва. Однако Егор боялся этого слова. Боялся, что Анемподист начнет звать к избиению и убийству социалов. Тут еще некстати опять вспомнилась ему девка русокошая, на Ньюру похожая, опять глянула на него бесхитростно и чисто.

«Поди, на площади теперь», — подумал Егор. И в те минуты неожиданно взяли его в плен, проняли аж до печенок речи протоиерея.

— Не судите меня, что во дни плачевной юдоли, когда повсюду являют сатанинский лик свой треокаянные человекогубцы, я хочу воззвать вас к милосердию, добру и прощению. Тем паче, что бог наш, Иисус Христос, устами апостола своего учил: «Любите врагов наших, ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступали и язычники?»

«Неужто всех примирить надумал? — обрадовался Егор. — Да чего там, прямо режет, не облыжно».

— Будем же, возлюбленные мои сыны и дочери, — вещал Анемподист, — следовать заветам божьим. В писании сказано: «Блюди веру, и блажен будешь». Святоносный господь наш Иисус многие подавал нам примеры доброты неизреченной. Сын божий больных и калечных исцелял одним прикосновением своим. От легкого касания руки его слепые прозревали. Пресвятая троица учит нас, грешных, творить добро каждодневно, и мудрость народная глаголит: «Торопись на доброе дело, а худое само приспеет. Добрым путем бог правит, он, всевышний, за добро плательщик. Кинь добро назад, оно наперед очутится». Тому примеры подает и наш благословенный монарх — человек неизреченной доброты, сосуд милосердия, кротостью лишь с царем Давидом сравнимый.

А мы сего дня собрались на моление в честь монаршей милости достославного манифеста. Многие свободы дает монарх наш сим актом гуманности и любви к ближним. Но, чада мои, многотерпеливые мои прихожане! Каким дьявольским нападкам, какому бесстыдному поношению подвергаются ныне богобоязненность и добронравие! Какое зло, какая вражда поплыли в мир от врагов престола и религии! Слова их нелепые ядовитее огазы, дела их лютее камней. Не раз в душевном смятении размышлял аз недостойный о том, праведно ли терпеть сие? Не вершим ли мы зло, не идем ли по стезе его, оставляя добро беззащитным? Ведь и бог наш, Иисус Христос, наказует недостойных по грехам их... Церковное вино обращает в кровь, не допуская до причастия, и той же слепотой и смертью карает. — Протоиерей властно простер над людьми совсем еще не старческую, крепкую руку. Повысил голос: — Так восстанем же и мы за извечную веру нашу, за белого царя — помазанника божия, за древние нетленные святыни! Защитим от безбожных социалов, от немоях, как прозвал их народ православный, высокие наши надежды и упования, трепетные наши молитвы, добросердие и нравственность нашу. И столь же незыблемую веру нашу и белого царя, и царя царствующих. Достославный самодержец наш известным вам манифестом дал народу многие свободы. Но слуги антихриста хотят использовать даже царскую милость на свой лад. Они тщатся захватить в свои руки бразды власти, превратить божьи храмы в конюшни, раздать докторам для бесовских опытов нетленные мощи, обратить



в прах церковные святыни, пропить в кабаках ценности. — Анемподист еще раз поднял голос, казалось, до края. Но после каждой точки он говорил громче и громче. — Гнев народный закипает против богопротивной нечисти. Дети мои, я не осужу вас, ежели вы пойдете дорогой справедливого гнева. Паче того, я благословляю вас на эту дорогу. Да осенит вас сила всевышнего на всякое дело благое. И того паче, я, отец ваш духовный, по скромному сану моему беру на себя все грехи ваши. Я ответственен перед богом милосердным, даже когда прольется кровь во имя его! Я возложу на главы ваши руки крестообразно и разрешу вас.

Священник помолчал, как бы давая прихожанам пережить его слова. И коротко закончил:

— Аминь!

— Аминь! — выдохнул весь собор.

И Егор подкрепил этим словом речь протоиерея вместе со всеми. И только тут почувствовал, что его вроде бы обвели вокруг пальца. А он, простодырый, и не заметил, как это получилось. Вот тебе и милосердие да прощенье. Вот тебе и добрый путь, каким бог правит. Бей, стало быть, направо и налево, греха не бойся, грех отец Анемподист на себя примет. Теперь гирька-то у того бельмастого в ход пойдет веселее, да что гирька — может, и пострашнее что найдется...

На горизонте поднимался такой же, как вчера, кроваво-красный шар солнца.

Народ валил из широких дверей на соборную площадь. На площади и без того пестрела толпа. Все больше оборванцы в заплатанных полушубках, рваных ватниках, сермяжных зипунах. На ногах много раз подшитые, часто с обрезанными голенищами пимы, тряпичные обулки, старые галоши. На голове — мятые шапочки, летние фуражки, изломанные, истертые, скорее всего подобранные на свалке шляпы.

А в руках дреколье, железные прутья. Иные поигрывают и ножами, самодельными кинжалами.

«Венькино войско», — сообразил Егор. Попадались среди Венькиной швали и совсем другие лица. Рабочие, кустари, приказчики.

«И порядочные есть», — заметил про себя Егор. — Ага! И эти здесь!» В толпе мелькали знакомые старички-официанты. Василия Васильевича люди. При них одинаковые небольшие, но вместительные баульчики. Старички то и дело раскрывали их и совали что-то в руки оборванцам.

«Шкалики! — понял Егор, когда увидел, как ночлежники ловко выбивали пробки, привычно сосали из горлышка.

— Эй, молодец, держи!

Девка в аккуратной барчатке протягивала ему стаканчик с водкой, накрытый сверху пирожком.

Егор смущенно попятился.

— Не пью.

Девка засмеялась, хотела что-то сказать, но, откуда ни возьмись, явился колченогий, бельмастый, обнял ее одной рукой, схватил другой стакан и, сбросив в снег пирожок, лихо вылил в себя водку.

Девка вырывалась от него, а он прижимал ее крепче к себе, горланил:

— Нам ничо нипочем, лишь бы водка с калачом!

Здоровый глаз его хищно блеснул, рот жадно кривился.

Кто еще пихается? Егор обернулся. Увидел мужика в потертом треухе, в старом полушубке. Чуть не крикнул: «Я те пихну!» Вовремя спохватился. «Его Макс! Когда успел переодеться?»

— Ты где ж ходишь, рот разеваешь? Кто из нас кого должен искать? Находишь при мне неотступно. Понял?

Егор понял не только это. Хозяин его, не глядя на свою одежку,



опять заважничал. Снова, стало быть, видел сам себя шибко нужной персоной.

А над толпой уже колыхался усатый, пучеглазый, затянутый в военный мундир мужчина. Один, два, три, четыре... Егор и не приметил, когда и откуда появились царские портреты.

Возбужденные водкой, люди становились все шумнее и нетерпеливее. Кто-то куда-то торопил, кто-то кого-то толкнул. Крик, угрозы, свалка. И надо всем властно, с присвистом:

— На Колыванскую! Все на Колыванскую!

«Ого! Да ить это Венька-кусочник! Тоже умеет власть оказывать. Какой голос прорезался. Даром что усики и спина официантские».

Люди двинулись к площади. Его Макс втиснулся в середину толпы, Егор, как привязанный, шел за ним. Замечал, что глаза вокруг блестели так же хищно, как единственный глаз колченогого, и рты так же похабно кривились.

И вдруг над толпой голубями взлетели небольшие белые листки. Чьи-то руки ловили их, кто-то уже громко читал:

«Товарищи! Граждане! Комитету РСДРП стало известно, что по образцу других городов многострадальной Руси и в нашем городке попы, купцы и чиновники решили устроить избивание и кровопролитие».

— Кто это горланит? — зычно крикнул Венька. — Заткните ему глотку.

— По приказу епископа... — рванулся было голос, но осекся. Донесся глухой звук удара, шум, свалка.

Вот и Колыванская площадь. Сейчас зачнется! Венькины люди, а с ними и другие, какие Анемподисту поверили, в драку полезут. Достанется социалам.

Однако заминка случилась. Задние напирают, а передние ни с места. Его Макс протиснулся вперед. За ним и Егор. Вплотную перед толпой солдатским строем стояли люди.

«Рабочая дружина!» — догадался Егор.

Дружина тоже была небезоружна. И не одни дубины да прутья. У иных и револьверы за поясом.

— Слушать меня!

Это вышел вперед матрос, тот самый самовидец с Черного моря. Этот скомандовал так скомандовал, куда там Веньке-кусочнику! А он как раз к Веньке и обратился:

— Слушать меня! Венька, да и те, кто тебя нанял, если они здесь. Предупреждаю: полети сюда хоть один камень, мы, рабочая дружина, от всей твоей швали оставим мокрое место. Бельмастому твоему, какой гирькой махается, выбьем последний глаз. А ночлежку вашу воровскую раскатаем по бревнышку. А теперь не для тебя и не для твоих, а для тех, кто еще верит царю да его приспешникам, кто еще не разглядел истинное обличье хозяев да попов, скажет Антон Семенович.

Из рядов вышли двое дюжих парней, крест-накрест взяли за руки. На перекрестье встал Антон Семенович. На этот раз он был в своем виде, без бороды, в простецкой овчинной шубейке.

— Речей говорить не буду, — с ходу заявил он. — Прочту вам обращение городского комитета РСДРП.

— Не слушать безбожников! — заорал артист.

— Бей их! — раздалось в толпе.

— Круши!

— А ну, попробуйте! — перекрикивая всех, с угрозой крикнул матрос.

— Пусть брешут. Не троньте их покуда, — приказал Венька.

Антон Семенович уже читал, держа в левой руке листовку. Читал не очень громко, но просто и душевно, будто убеждал знакомых:

«...По приказу епископа Анемподист благословляет вас избивать



коммунистов, особенно большевиков. Но что плохого сделали трудящемуся люду большевики — члены Российской социал-демократической рабочей партии?»

— Мутят народ! — выкрикнули из толпы.

— Смутьяны!

Антон Семенович будто не слышал выкриков, продолжал:

«Наша партия борется за сокращение рабочего дня. Это ли плохо для рабочих?»

Наша партия добивается повышения ваших зарплаток. Это ли плохо для рабочих?»

Наша партия ратует за лучшие условия труда. Это ли плохо для рабочих?»

Наша партия хочет нормальной жизни, гражданских прав для народа. Бьется за ваше человеческое достоинство. Может быть, это плохо для рабочих?»

Колченогий подскочил к Веньке.

— Давай, я его упокою.

— Успеет, — не разрешил Венька. — Жди!

— Он, гад, агитирует...

— Жди! — зло оскалив щербатый рот, повторил Венька.

Антон Семенович прочитал неожиданное: «Мы действительно враги — и непримиримые. Но враги не вам, товарищи рабочие. Мы враги царскому самодержавию, которое обманывает и убивает, которому оказалось мало бойни на Дальнем Востоке, понадобилось еще и кровавое воскресенье девятого января, которое и сейчас натравливает одни слои населения на другие, одни национальности на другие!

Мы враги капиталистов и эксплуататоров, богатеющих на вашем труде, готовых вытянуть из вас последние жилы, за скудный кусок хлеба.

Вот для кого мы враги!»

Антон Семенович не завораживал, не околдовывал своей речью. Но все было понятно Егору. И если в церкви он ждал, когда протоиерей кончит, то здесь ему хотелось слушать и слушать. Жадно хотелось узнать правду.

— Солдаты! Конница! — раздался тревожный голос.

С моста к площади катилась темная лавина.

Вот кого ждал Венька-кусочник. Егор услышал, как он злорадно подтолкнул бельмастого:

— Теперь можно и упокоить!

Бельмастый уже держал в руке увесистый камень.

«Из кармана вытащил, — мелькнуло у Егора. — Как карман-то не продырявил?»

Кровь! Егор увидел первую в этот день кровь. Она струйкой стекала по виску Антона Семеновича. Антон Семенович повернулся к своим, глядя через головы дружинников, крикнул:

— Уходите! Вы остаетесь без защиты.

Стал клониться набок. Люди подхватили его.

Больше Егор его не видел. Все заслонили конные солдаты. Они с двух сторон окружили рабочую дружину. Конские морды напирали на людей, теснили их. Молоденький офицерик, сдерживая тонконового жеребца, командовал:

— Шашки наголо! — Потребовал: — Сдать оружие! Немедленно!

На секунду перед офицером мелькнул очкастый, тот, что на собрании перечил Антону Семеновичу.

— Господин подпоручик! Вы не имеете права, — вскричал он. — Манифест!..

Усатый фельдфебель оттеснил его, наезжая конем, лениво погрозил шашкой.



А Венька-кусочник тоже командовал, хотя и с присвистом, но старался по-офицерски отрывисто:

— В обход. Не пускать социалов.

Толпа обогнула окруженную войсками дружину. Демонстранты успешно расходились с площади. Колченогий первым бросился наперерез уходящим. Он бежал, загребая снег и размахивая гирькой на торчащей из рукава резине.

За ним бежали другие громилы. Не отставали и Егор Макс с Егором. Егор видел перед собой спины. Злые, победно устремленные вперед. Испуганные, норовящие сжаться, исчезнуть.

Погромщики настигали уходящих.

— Студент, студент!

— Лови немоляху! — неслось с одной стороны.

— Девку, девку, волокн сюды. Мы ее где-нибудь сообщла!

Два оборванца схватили девушку в серой заячьей шубке.

«Неужто социалка, на Нюру похожая?» — ахнул Егор. Но это была не она, другая, в такой же шубе.

— Что вы творите, мерзавцы? Немедленно прекратить!

Неведомо откуда взялся этот грозный барин в распахнутой жеребковой дохе, в бобровой шапке...

Оторопевшие оборванцы отпустили девушку, она, всхлипывая с испугу и от радости, что удалось вырваться, юркнула в сторону, исчезла.

— Мерзавцы! — повторил барин. — Хватать женщин...

— А вы, господин хороший, кто будете?

Перед барином вырос Егор Макс.

Тот глянул на его полушубок, на ветхий греух, заносчиво отрезал:

— Я, с вашего разрешения, товарищ прокурора, а вы кем являетесь?

— Позвольте сперва познакомить вас с моим товарищем, — насмешливо ответил Егор Макс.

— Сейчас и познакомимся, — подхватил колченогий, сверля бари-на единственным горящим глазом. — Сей момент...

И тут Егор увидел кровь во второй раз. Взметнулась гирька. Барин закрыл лицо руками, выплюнул выбитые зубы.

— Для первого знакомства достаточно, — заявил Егор Макс.

Однако бельмастый уже вошел в азарт. В руке у него тускло блеснул железный прут.

Товарищ прокурора упал в снег, распластав руки. Красная пена занграла на губах.

Бельмастый отер прут снегом, вставил его в палку-футляр, привычно оперся на палку.

— Шубу-то! Неужто такое богатство оставлять, — захолопотал Венька-кусочник. — Сымайте проворнее, не то кровью зальет.

Егор Макс побелел, отошел в сторону. Совладав с собой, заворчал:

— Перестарались, мерзавцы! Вот народец. Ничего поручить нельзя.

Поблизости оборванцы избивали знакомого Егору молодецкого студента. Голова его после каждого удара моталась из стороны в сторону, словно была плохо привязана к шее. Из носа текла кровь, но студент не вытирал ее.

— Под дых ему! Под дых! Чтоб с копытов. Эх, я молодым — от был! — нетерпеливо приплясывая, шамкая беззубым ртом, пьяно кричал старик. Он был в летней шляпе, на правой ноге коротко обрезанный валенок, на левой — кожаный ботинок.

Студента сбили с ног, старик забегал вокруг, заорал еще пуще:

— Эй, кто есть ли в сапогах? По башке его, по башке.

— Помогите! Помогите, люди! — перекрыл все шумы истошный женский крик.



Молодая, рабочего вида женщина отчаянно отбивалась от озверелых парней. Старик приплясывал уже возле этой кучки.

— В емназию ее! В емназию тащите, — шамкал он. — Там укромно место найдется. Мы ее... Я и сам ишшо...

Егор не мог глядеть на все это. Отворачивался то в одну, то в другую сторону.

Площадь понемногу пустела. Конный эскадрон оттеснил в переулок рабочую дружину. Погромщики устремились на соседнюю улицу, оставив темнеющие трупы людей.

Сверху смотрело огромное кроваво-красное солнце.

Егора морозило не от холода; от жуткой мерзости всего, что творилось вокруг.

Думал о мертвых. Барин какой вальяжный да начальственный. Кабы знал, где найдет конец. А студент! Учился, науку постигал. Где-то, поди, мать ждет сыночка. А может, и жена.

Да как же это можно вершить такое? Жизни людей решать. Кому это дозволено? И он, Егор, замешался в такую нечисть. Бежать ему надо отсюда, бежать!..

Его Макс потянул за рукав, невесело проговорил:

— Движемся, Егор!

Кураж слетел с него. Видать, сам не ждал, что этакое содеется. По легкомыслию тшился отвести от себя вину.

Площадь эта Кольванская, несчастливая. На ней еще в давние времена рабочих людей за всякие провинности сквозь строй прогоняли и железными прутьями секли. Беглецов с заводов засекали до смерти. И надо же им было, социалам, на этой площади собраться...

Громили толпились на соседней улице. Между ними опять сновали старички-официанты со своими баульчиками, девки с водкой на разлив и пирожками.

Погромщики сосали водку. Старик, какой давал советы, как бить студента, куда тащить женщину, храпел, развалился на снегу.

#### 14.

Голиков этим утром тоже поднялся до света. Несмотря на тревожные впечатления вчерашнего дня, он спал крепко. Утром все страхи показались вздорными. Что это вчера мерещилось? Подумаешь, прошли мимо подвыпившие грубияны! Какое событие? Или социалисты в Народном доме подрались с монархистами. Где и когда они не дрались? И сегодня походят по городу, вдоволь погорланят да и разойдутся.

Стремжбицкий блажит от старости и одиночества на чужбине. А Ребров решил с досады погугать своего бывшего сотрудника за то, что тот наотрез отказался от его задания.

Правильно сделал, что отказался. Зачем он, Иван Голиков, будет писать пасквили на какого-то попа? Что ему этот поп? Неужели он должен ради протонерея отложить свою поэму и сочинять частушки вроде: «Для попа Анемподиста нет страшнее коммунистов».

Для чего ему это? Вот схлынет наволочь, он найдет Настю, сделает все, чтобы оторвать ее от бесплодной и бесконечной борьбы.

Как люди не понимают, что социальные битвы не ведут в земной рай. Они только отвлекают от полезных дел. Настин брат мог бы лечить людей, а сидит в тюрьме. Кому от этого польза?

И главное, к чему это все ведет? Благородны идеи декабристов. Свята память о жертвенном подвиге. Но что появилось в итоге? Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, корпус жандармов во главе с Бенкендорфом, а потом охранка и все, о чем толковал этот перепуганный старик Стремжбицкий. Действительно, всю страну опутали жандармской сетью.

Неужели неясно, что не вражду нужно копить, а добро. Человеко-



любие лелеять, совесть, душевную чистоту. Прежде всего нужно воспитать поколение гуманистов, поколение людей, неспособных обратиться в зло, а потом брать эту власть в руки! И когда-нибудь он расскажет об этом Насте.

Услужливая фантазия перенесла в березовую рощу — излюбленное место гуляния горожан. Тихий летний вечер. Русая коса стекает по синеватой блузке.

...Голиков глянул на часы. Черт возьми, без пятнадцати семь... Размечтался. Давно пора браться за работу. Он и без того потерял целых два дня. Достал рукопись, углубился в нее. Привычно почувствовал, как раздвигаются стены комнаты. Один за другим появляются люди, которых он вызывал к жизни своей фантазией.

Окруженный этими людьми, поэт не слышал шума за окнами, не видел проходящие мимо толпы. Он ходил из угла в угол, самозабвенно бормотал строки стихов, мысленно зачеркивал их, до бесконечности менял в них слова.

— Езус-Мария! Я так и думал, что он дома. Он еще ничего не знает!

Иван с трудом вырвался из круга своих ощущений, расстался с шумной и неуживчивой родней, пришедшей к нему из детства. Удивленно смотрел на гостя.

В дверях стоял старик в рваном пальтишке, шапке с одним ухом — другое, видимо, было где-то оторвано. В руках собачьи мохнатки.

— Что за маскарад, Сигизмунд Эдмундович? — не сразу узнав старого поляка, спросил поэт.

— А вы попробуйте пройти по городу в нормальной одежде. Вы здесь сидите, как анахорет. Этак, дорогой мой сочинитель, можете второе пришествие просидеть. В городе... вы не представляете, что в городе... — ужасался Сигизмунд Эдмундович.

Голикова подмывало спросить: опять грубят пьяные парни или жандарм проехал? Но вид гостя удерживал от таких вопросов.

В Стремжбшском были заметны новые перемены. Сигизмунд Эдмундович не походил сейчас на трибуна, не походил и на вчерашнего подавленного человека. Лицо его очертилось резче, и без того глубокие морщины сделались еще глубже. Однако во всем облике не чувствовалось растерянности и испуга. Робость, даже страх одолевают до первой схватки. А получив первый удар, человек излечивается от них.

— Кровь льется в городе!

Сигизмунд Эдмундович рассказал о происшествии на Кольванской площади. Убиты студент, товарищ прокурора, рабочий с веревочного завода.

Голиков не поверил старику. Вчера у него печать смерти была на лице, сегодня новые страсти-мордасти принес. Кто мог поднять руку на товарища прокурора?

Осторожно спросил:

— Вы не преувеличиваете?

Старик горестно покачал головой. Он не преувеличивает — все видел своими глазами. Сначала был на площади вместе с демонстрантами, потом убежал, напялил этот маскарадный костюм и снова вернулся туда. Нет, он не преувеличивает, скорее даже преуменьшает. То есть не сам преуменьшает, но картину рисует преуменьшенную, так как не знает, что натворили громилы за это время. Они пошли по квартирам. У них есть специальные списки.

Иван встревожился: нет ли в тех списках Миши Ильина? Проворно оделся.

— Что вы делаете? — кинулся к нему старик. — В таком пальто вы не пройдете и десяти шагов.

— Обо мне не беспокойтесь, — бросил Иван.

На улице было безлюдно. Лишь на углу их догнал подвыпивший



старик в обрезанном валенке на правой ноге и кожаном ботинке — на левой, с объемистым узлом в руках.

— Может, они думают, он чем добрым разжился? — пьяно и слезно шамкал дед. — У социалов разживешься! Хапнешь дырку от бублика. Да он еще пришел-то к шапочному разбору. Притомился, энтих же немоях на площади гонял. Покемарил на снегу. Как вскочил, побег по фатерам, а там все расхватали. Один пух от перин летает. Детская шубенка да ботинчешки достались. Дэк куда их? Разве что на нос!

Старик перебил себя:

— Не дадите папиросочку, господин хороший.

— Сам гляжу, где стрелнуть. — в тон ему ответил Иван.

— Может, огонек найдется? У меня махра есть.

Стремжицкий подал ему коробок спичек. Старик поставил узел на снег. Сноровисто свернул самокрутку, прикурил.

Из-за угла вывернулась похожая на вчерашнюю ватажка подвыпивших парней.

— Эй, робя, — оживился старик, — пощупайте-ка знатного энтото барина. Видать, социал. У меня на таких нюх... — Старик повернулся к Голикову: — На Кольванской был? Признавайся, барин.

Иван подошел к нему вплотную, смерил недобрый взглядом.

— Ну, был.

— Да не был он там. Он шутит, — вмешался настороженный Стремжицкий.

— То-то, барин, — не обратив внимания на Стремжицкого, возликовал старик.

Голиков быстрым движением надвинул ему шапку на глаза.

— Барин! С одного пальтишко сдернул, вот и барином нарядился. А ты, дедок, на своих не прыгай, а то поднесу одну — уши отпадут.

Парни, до сих пор угрожающе молчавшие, засмеялись. Один из них подхватил лежавший на снегу узел.

— Вы чо! Вы чо! — истошно заорал дед. — Грабеж! Грабеж средь бела дня!

Кинулся вслед парню, но другой ловко подставил ему ногу. Дед растянулся на снегу, проворно сел, закричал:

— Варнаки! Обормоты! Подавитесь чужим добром!

Голиков со своим снутником наконец свернули за угол. Стремжицкий, как часто бывает после пережитой опасности, сделался не в меру разговорчив. Смеялся над ситуацией с узлом: вор с вора шапку снял. Восхищался невозмутимостью, находчивостью Голикова: как он с ними! И откуда терминология взялась! Впрочем, Сигизмунд Эдмундович слышал о прошлом поэта.

Иван, наоборот, озабоченно молчал. Мысленно ругал себя: надо было утром бегом бежать к Настеньке, предупредить ее. Что предупредить — не пускать на площадь. И не утром — вчера надо было бежать! Ну, ладно, не поверил экспансивному Стремжицкому. Но Павлу Полкарповичу... Издатель за все время их знакомства не дал для этого повода.

Еще не дойдя до дома Ильиных, Голиков непонятно как почувствовал — Настя там нет. И ее действительно не было. Зато Миша Ильин оказался дома. Жена прикладывала ему серебряную ложку к синяку под глазом.

— Досталось! — больше обычного кося глазом, зло сказал Михаил. — Но я тоже одному поднес. Дым от зубов пошел вместе с юшкой. Жалко, пришлось уходить. Знамя спасал.

Иван еще раз подвинулся тому, как изменился Ильин. Поражение злило. Однако подавлен он не был. Наоборот, словно оплетенный мышцами, выглядел готовым к новым схваткам.

— Если бы они, гады, не окружили дружину! Но все едино заарестовать дружинников не решатся, струсят. Да и новые ребята в дружину



придут. Я первый. А Антона Семеновича, слышно, в больницу увезли...

Иван прервал его, спросил, где Настя.

— За Настю не бойся. В библиотеке ее спрятали. На Алейской, знаешь? Туда они не полезут. На што им...

Однако на Алейской улице им встретила толпа громил.

— Куды, робя? — кричал кто-то.

— На Полковую пошли.

— Эх, теперь бы пивной завод пощупать!..

Всюду были видны следы погрома. Дома непривычно и пугающе смотрели провалами незастекленных окон. Битое стекло хрустело под сапогами. Взгляд наткнулся на непривычное: выпотрошенное кресло, сломанный стул, петух с неестественно вывернутой шейей.

— Варвары! Каннибалы двадцатого века! — возмущался Стремжицкий.

Мелкими шажками старик рыснул за Голиковым. Иван шел молча, забыв о своем спутнике. Фантазия непрошено рисовала самые мрачные картины. Он снова видел Настю в кабинете жандарма, видел в камере тюрьмы, избитой, даже искалеченной.

Сигизмунд Эдмундович, понимая его состояние, успокаивал:

— Ваш друг прав. В библиотеку они не пойдут. Для них это просто экзотика. Да и к тому же, даже у подонков сохраняется священный трепет перед кшежка... книгой. И они, если не понимают, то чувствуют...

Старик осекая. На тротуаре валялся истерзанный, еще недавно, видимо, изящный томик. Ветер лениво трепал листы.

— Фет... Афанасий Фет. Лирика. «Я пришел к тебе с приветом...» — потеряно вымолвил Сигизмунд Эдмундович.

Голиков прибавил шагу. Он почти бежал, и старик едва поспевал за ним. Рваных книг на тротуарах и на дороге становилось все больше. Перед одноэтажным домиком библиотеки они валялись кучами.

Иван вбежал в здание. Стремжицкий, задыхающийся от быстрой ходьбы, семенил за ним.

В просторных сенях, в коридоре одноэтажного дома библиотеки было пусто. Лишь в дверях абонементов одиноко стоял рослый здоровенный парень. Лицо у него дергалось, ходило живчиками, будто парень не мог совладать с ним.

«Чего он извивается? Добычей обделили?» — подумал Голиков. На секунду вспомнил, что где-то видел этого простоватого богатыря.

За уцелевшим столиком библиотекарши барски развалился высокий оборванец в потертом полушубке, старом треухе, с тонкими, не лишенными привлекательности чертами лица. Листал книгу. На обложке Голиков механически прочел: «Вильям Шекспир. Драматические сочинения». Удивиться не успел. Из-за стеллажа вышли двое — тот колченогий, бельмастый, который вчера вечером угрожал: «Они гуляют! Пушай гуляют... до поры», и Венька-кусочник. Его Голиков знал: работая в газете, писал однажды репортаж из ночлежки.

— Вот стервы, — коршунисто насупившись, заявил колченогий, — одна убежала, другая исцарапала, искусала всего. Ладно, больше кусаться не будет.

Оборванец отложил Шекспира.

— Делу время, потехе час, господа патриоты!

— Шляндаем, шляндаем, — заторопился Венька.

Глянул было на Ивана, хотел что-то сказать, но махнул рукой, направился к двери.

Голиков шагнул к стеллажам и отпрянул. Прямо на него двигалась куча тряпья, лоскутьев. Лоскутья трепыхались, открывая голую грудь с красными бугорками сосков. Лица не было. Вместо него серело что-то бесформенное, оплывшее, с узкими щелками глаз. Тряпье заволновалось, запрыгало и на груди оказалась русая коса.

«Господи! — ужаснулся Иван. — Откуда у нее Настина коса?»



Щелочки глаз уставились на Ивана. Обожгла, стала темнеть знакомая до укола в сердце синева.

— Настя, — простонал Голиков. — Настенька! Что они с вами...

И только тут заметил струйку крови. Кровь текла из круглой ранки над левой грудью. Настя пошатнулась.

— Ив... Иван Иванович! — с трудом выговорила она. — Держите меня. Пожалуйста, держите. Держите...

Иван крепко обхватил ее, возле бестолково суетился Стремжицкий.

— Врача. Надо врача!

— Где его сейчас найдешь? — рассудительно заметил оборванец, обернулся к верзиле: — Беги за извозчиком. В больницу отвезем.

Голиков зажал рану носовым платком.

Настя вдруг заговорила быстро, горячечно:

— Я ведь не умру? А, Иван Иванович, я не умру! Я ведь буду жить! Мне не хочется умирать. Это нелепо — умирать в девятнадцать лет. Правда, это нелепо...

Губы не слушались ее, синели. Тело тяжело, и Иван с трудом держал его.

Оборванец расстелил половик.

— Надо положить девушку.

Иван бережно уложил Настю на половик. Она пыталась еще что-то сказать. Голиков расслышал только:

— Нет. Не умру...

— Извозчик подъехал, — объявил появившийся в дверях Егор.

Стремжицкий взял Настину руку, поискал пульс. Встал на колени, приник к сердцу. Выговорил:

— Не потшеба извозчик.

Снял шапку и перекрестился.

— Нет, — прошептал Иван. — Нет! Не может быть! — Сумасшедшим взглядом обвел комнату, как бы ища поддержки.

Будто впервые увидел оборванца.

— Ты... Ты, гад!

— Я был против... — пытался оправдаться тот. Голиков уже держал его за отвороты рваного пальто.

Мужчины катались по полу, пытались одолеть друг друга. Иван вскочил первым, оборванец за ним.

— Егор! — закричал он. — Какую холеру стоишь! Поднеси ему.

Парень медленно подошел к дерущимся. Сжал огромный кулак. Примериваясь, глянул на Ивана, и вдруг обрушил кулак на хозяина.

— Ты что! Ты что! — понеслось с полу. — Спятил? Сволочь! Крепни! Это за мои деньги! За мои...

— И за них, господин Егор Макс.

Гоньбинский скиталец порвал на себе рубашку. Деньги полетели в лицо артисту.

— На! Подавись! Подавись! — хрипел Егор.

## 15.

Иван бежал заснеженной Подгорной улицей. Шапки на нем не было, спутанные заиндевелые волосы свисали на лоб. Из кармана распластнутого, со следами оторванных пуговиц пальто торчал обломок кирпича. От потемневшего лица, от всего облика, который, впрочем, прекрасно вписывался в переполошенный, взбудораженный город, веяло необоримой решимостью, жуткой готовностью перейти грань, совершить непоправимое.

Редкие прохожие шарахались от него, и ему пришлось, соскочив с тротуара, догнать одного из них, чтобы узнать, в какую сторону отправившись «патриоты».



Оказалось, громилы ринулись к пивному заводу братьев Калабуховых. Завод находится в конце улицы, возле самого бора. Голиков пробежал около пяти верст, ни разу не остановившись, не чувствуя усталости. Неподдалеку от завода встретилась пьяная ватажка. Оборванцы, как мухи, облепили бочку с пивом и катили ее по дороге. Падали, матерно ругаясь, громко хохотали.

— Эй, паря, — крикнул один из них Ивану, — поспедай давай. Там хозяин с перепугу десятка три бочек выкатил.

Голиков, схватив за грудки, крепко тряхнул первого попавшегося мужичонку:

— Колченогий где?

— Колченогий? Это который с Венькой? Так они подались рисковый погреб громить. — И объяснил: — Рисковый погреб — это где барские благородные вина сохраняются. Купцу Бородавкину принадлежат. Миллионщику. — И вдруг возмутился:

— Чего ты меня трясешь? Чего трясешь! Я те не груша. А то и сам могу тряхнуть...

Иван брезгливо отшвырнул хмельного оборванца.

Не добежав до ренского погреба, почувствовал терпкие винные запахи. Примостившись у дороги, старикашка, тот самый, у которого парни отобрали узел с награбленным, сливал дорогие вина в заржавленное, скорее всего помойное ведро. Стуча по краю ведра, он отбивал горлышки фигурных с различными, одна ярче другой, этикетками бутылок. Стекло разлеталось с глухим звоном. Осколки падали в ведро.

— Колченогий там? — Голиков кивнул на погребок.

— Тама, все тама, — калеча очередную бутылку, отозвался старик.

Иван выхватил из кармана кирпич. Старик не по возрасту проворно вскочил. Рот его безвольно обмяк, зрачки суматошно забегали.

— Да я не тебя... Не бойся, — презрительно бросил Иван.

Но старый смотрел мимо него.

Голиков обернулся. По улице на рысях мчались казаки. Конские морды, злые азартные лица, красные лампасы — все сливалось в одно.

Старик затолкал пару бутылок за голенище обрезанного валенка, с сожалением глянул на кожаный ботинок, в который была обута другая нога и, схватив ведро, бросился наутек.

В ту же секунду Иван, сбитый нагайкой ударом по голове, упал на снег. Инстинктивно отполз на обочину.

Казаки спешили возле многоэтажного, именуемого в городе небоскребом, дома, в цокольном этаже которого расположился ренский погреб — склад и магазин виноградных вин. Часть казаков с гиком и криком ворвалась в помещение, другая выстроилась в две шеренги.

Иван попытался подняться, но голова сильно кружилась. Подумал: «Не иначе — сотрясение мозга...»

— Приготовься! — раздался повелительный голос офицера. — Казаки! Нагайки вверх!

Картофелью из дырявого мешка посыпались из погреба патриоты. Иные молча, иные с испуганными возмущенными криками.

— Пошто так-то? — услышал Иван недоуменный вопрос простоватого на вид рабочего парня. — Сами велели, а теперя лупить.

— Стало быть, велели, — передразнил его мужчина в приказничьей поддевке с усиками, напоминающими Венькины. — Велели социалов пощупать, а этот погребок знаешь чей? Миллионщика Бородавкина.

В лихой работе казаков образовался перерыв. Сдерживая напирющих сзади, через порог с трудом переползала грузная, мертвецки пьяная баба. Два казака волоком оттащили ее в сторону. Иван с замиранием сердца увидел, как, воспользовавшись заминкой, выскочил из дверей погребка Венька-кусочник, юрко вывернулся из устрашающего, пролежшего между двумя шеренгами, коридора, подбежал к стоящему поодаль офицеру.



— Господин хорунжий! Это по какому же праву... — начал Венька. Зевающий от скуки офицер почувал возможность развлечься. Поигрывая темляком шашки, в знак отличия сделанным из георгиевской ленты, преувеличенно вежливо спросил:

— Чего изволите, господин патриот? Какие будут жалобы на мою полусотню?

Венька не оправдал надежд хорунжего, в пререкания не вступил. Много раз битый в прямом и переносном смысле, он сразу почувал недоброе, мгновенно сменил тон.

— Дозвольте, ваше благородие, удалиться. Не по своей воле-с, ваше благородие. И людей приводил по приказу-с...

Хорунжий изобразил на красивом нахальноватом лице приветливую улыбку. Доброжелательно, хотя и несколько недоуменно, пожал плечами:

— Я вас не задерживаю, господин патриот.

Сжимая кирпич, Иван ждал, что Венька пробежит мимо него. С колченогим потом... хотя бы этого... Но Кусочник зайцем метнулся к забору. Голиков, преодолевая головокружение, поднялся, чтобы устремиться за ним. Хорунжий поманил одного из казаков, кивнул на убегающего погромщика.

Венька бежал вдоль забора, казак с поднятой нагайкой настигал его. Голиков все с тем же кирпичом ковылял за ними.

И Кусочник вдруг исчез, как провалился в землю. Иван даже не сразу догадался, что он скрылся в проеме забора. Дюжий казачина тоже устремился в эту щель, но для него она была слишком узка.

Казак косился на забор, в сердцах плюнул, пошел обратно. Тут и столкнулся нос к носу с Голиковым.

Был настолько удивлен, что не сразу поднял нагайку...

...Очнулся Иван Иванович только на следующий день в своей квартире. «Бежать, быстрее бежать!» — застучало в мозгу. Куда и зачем — он еще не сообразил. Однако рванулся с кровати. Острая боль уложила обратно. Успел заметить, что в комнате не один. Примостившись в углу на стуле, спал Стремжбицкий.

«Почему он здесь? Ведь я же оставлял его с Настенькой?»

И тогда разом вспомнилось все.

Сигизмунд Эдмундович заворочался на стуле, воскликнул:

— Пшийшьсь в соби... как по-русски... оклемался...

Старый поляк сокрушенно покачал головой.

О, как он был испуган. Он так привязался к Ивану Ивановичу. Думал, неужели еще потеря? Разве недостаточно Настя? Слава богу лекарь успокоил его. По счастью, всего только перелом ключицы и сотрясение мозга. Скоро Иван Иванович поправится. Так считает лекарь.

Но врач ошибался. Шли дни, а Голиков продолжал лежать в постели. Упорно отказывался от еды, хотя старый поляк варил ему бульоны и кисели. Почти не раскрывал рта, как не изощрялся Сигизмунд Эдмундович, чтобы вызвать его на разговор.

Пожилой опытный доктор не переставал удивляться. По всем объективным данным человек должен подняться с постели, а он лежит и слабеет. Конечно, нервное потрясение, но ведь и его сглаживает время. К тому же речь идет о здоровом, крепком мужике.

Стремжбицкий задумчиво возражал:

— Речь идет о поэте, доктор.

Доктор вздыхал, морщил лоб. Поэтов он до сих пор не лечил.

Голиков лежал в излюбленной теперь позе — на правом боку лицом к стене. Как только закрывал глаза, видел Настю. Не ту, с бесформенным, оплывшим лицом, узкими щелками глаз. Другую. В легкой, голубоватого оттенка блузке. Настя нерешительно теревит тяжелую русую косу. С опаской оглядывает скопление мутной, застойной воды. Доверчиво смотрит на Ивана снизу вверх...



...Настя кладет в розетку ежевичное варенье, маленькими глотками с удовольствием пьет чай.

«Хорошо, когда такая рядом!»

...Вечер. Низко, словно потолок шерстобитный, нависло беззвездное небо. Дома слепо смотрят закрытыми ставнями.

Настя доверчиво жмет руку Ивану.

— Нам с вами нужно весь город обойти.

...Настенька над книгой Апухтина.

— Хотите, я вам прочту, что пишет брат?

«Дорогая моя, прекрасная, совершенная сестренка!..»

Милое лицо вспыхивает от смущения.

...Полутемные сени. Иван, последний раз взглянув на Настю, идет к выходу.

— Иван Иванович! — зовет девушка. — Я ведь тогда жалела, что мы так быстро разошлись... Не познакомились...

Настя обвивает его шею и губами легко касается его губ.

Часами, словно живые картины, которые так охотно ставят в городском Народном доме, смотрит Иван Иванович эти мгновенно возникающие и быстро сменяющиеся друг друга воспоминания. Недавнее, но так внезапно отдалившееся, ставшее невозвратным прошлое, заставляет замирать, нестерпимо болеть, щемить сердце.

Голиков досадует на Сигизмунда Эдмундовича, на доктора, на всех тех, кто приходит его навестить. Они мешают, вслушиваются дорогие видения, милые грезы.

— Он слабеет, как это по-русски?.. не по дням, а по часам, — сокрушается Стремжицкий. — Может быть, консилиум?

Доктор морщит теперь уже не только лоб. Все лицо его напоминает печеное яблоко. По его мнению, это не тот случай, когда нужен консилиум. Консилиум не поможет.

— Но и не повредит, — упрямо настаивает старый поляк.

Так и случилось. Консилиум не помог и не повредил.

Солидные господа, сняв тяжелые шубы, поставив в угол трости, долго осматривали Ивана, заставляли его сесть и встать, дышать и не дышать, открывать рот и показывать язык.

Перейдя в квартиру свечного заводчика, жена которого любезно предоставила в их распоряжение свою гостиную, коллеги долго совещались. Приглушенными, многозначительными голосами было произнесено много латинских слов. Доктора пришли к выводу, что болезнь носит чисто нервический характер. Дальнейшее ее развитие предполагает два варианта: либо она пойдет на угасание, либо будет развиваться дальше.

Стремжицкий, пожертвовавший для организации этого врачебного совета своей единственной драгоценностью — золотым портсигаром, который в спешке вынужден был продать за бесценок, учтиво благодарил эскулапов, вручив им конверт с ассигнациями.

Голиков, довольный их уходом, устало отвернулся к стене и, закрыв глаза, стал смотреть свои видения...

Спасла Ивана Ивановича Настенька. Не будучи ни мистиком, ни даже более или менее твердо верующим в бога человеком, Голиков всегда относил свое выздоровление на ее счет.

...Руки Настеньки лежали на столе, как на школьной парте. Иван читал ей главы из своей поэмы, и все впечатления отражались на лице девушки. Нежном, подвижном, единственном на всем белом свете лице.

— Но где же в вашей поэме виновники этого унижительного состояния? Те, кто ввергают людей в этот ад?

Видение не исчезало, не сменялось другим.

«Где же виновники?»

«Где же виновники?»

Настя повторяла это бесконечно. И вопрос ее звучал все настойчивее, требовательнее.



— О, я разоблачу их. Они у меня выпьют свою чашу позора!  
К удивлению Стремжбицкого, Иван Иванович произнес это вслух.  
И отнюдь не слабым голосом больного человека...

## 16.

Родион Силыч Бородавкин обедал в одиночестве в отдельном кабинете ресторана «Обь». Последнее время он сильно пристрастился к этому ресторану. Жена даже однажды поинтересовалась: «Ты не утнешь в «Оби»?»

Он не мог ей ответить, что полюбил это место как раз из-за своих домашних — и жена и две дочери, изрядно избалованные, шумные девицы, вечно лезли с просьбами, им всегда чего-то не доставало, в том числе и внимания. С ними Родиону Силычу приходилось говорить много слов. Здесь же кабинет надежно охранялся чутким и бдительным, как хороший дворový нес, Василием Васильевичем. Сюда никто не мог проникнуть, была полная возможность поразмыслить в одиночестве. А размышлять было о чем.

Прежде всего Родион Силыч выводил сальдо недавних событий. Резонно их нельзя назвать особенно благоприятными. По своим делам купец на днях побывал в Томске. Тамошние новости не обрадовали. На вокзале купил газету. С листа смотрел Азначеев-Азначевский. Губернатор был в римской тоге. Он играл на людне и наблюдал за пожаром. В здании управления железной дороги горели люди. Подпись под карикатурой гласила: «Современный Нерон».

Бородавкин возмутился: как можно терпеть такое надругательство над высшим сановником! Однако в деловых кругах узнал еще не это. Губернатора исключили из членов дворянского собрания. Он уехал в Петербург. Но и отъезд не прошел гладко. Железнодорожники отказались везти Азначевского, отцепили губернаторский вагон. Пришлось главе губернии ехать до Новоиколаевска на лошадях.

Да, отзвук во всех слоях общества не обнадеживал. И социалисты, которых громили, как видно, шибко-то не перепугались. Пожалуй, скорее только озлобились. По деревням России красный петух гуляет: помещичьи усадьбы горят. В Кронштадте целые бои идут — флотские восстали, им и войска помогают. Во многих местах советы объявились — новая народная власть.

Может, погромы-то эти все впустую или даже во вред пошли. С другой стороны, какая-никакая — острастка, и правительство стало действовать поуверенней.

Но им, сильным мира, погромы тоже урок. Со шпаной этой связываться нельзя. Хотя столичные мудрецы и пишут, что надобно в этих падших людях только расшевелить тайники русской души... Пусть они в столицах этим займутся!

Голодранцам наказывали поучить, ну, побить, пограбить. А они до рвались, мерзавцы, и насиловать давай, и убивать. Да кабы один случай, а то шесть человек упокоили. Вот тебе и тайники души! И надо же — товарища прокурора убили. Тот сам виноват: нашел, когда рыцарствовать и закон защищать.

А эта шваль на другой день совсем одурела. В пивной завод полезла, по магазинам пошла.

Одиночество Бородавкина нарушил Василий Васильевич. И шел он не с новым блюдом, вином или чем другим, связанным со взятыми на себя официантскими обязанностями. Шел явно с какой-то вестью. Другого бы в подобной ситуации Бородавкин вообще бы к себе не допустил. Но Василий Васильевич зазря на глаза не полезет.

— Покорнейше прошу извинить, Родион Силыч. Артист к вам просится, Его Макс.

— Как? — поинтересовался купец.



— Выглядит? Жалко-с... Вроде прокисшего суфле, не менее недельного сроку-с. Но по обычаю хорохорятся.

— Почему? — спросил Родион Силыч.

— Почему решился до вас допустить? Новости, говорит, важные имею. И, видать, не врет.

Бородавкин кивнул. Вид у Его Макса был действительно жалким. И весь он вроде как обветшал. И верхняя губа бугром распухла. Но артист, как всегда, бодрился.

— Сколько? — полюбопытствовал Родион Силыч.

— Зубов-то? — Артист не хуже Василия Васильевича умел расшифровывать краткие вопросы богача. — Целых три, Родион Силыч! Однако ж, не беда. Новые вставим. Другие и не это кладут на алтарь отечества. — Его Макс достал из кармана повестку. Артиста вызывал прокурор. Как проведет Его Макс, социалы требуют суда над патриотами. Издатель Ребров, ссылаясь на царский манифест, добивается разрешения на выпуск своего листка. Там готовится материал насчет погрома. Будут те же требования.

— Откуда? — перебил Родион Силыч.

— Сведения через Веньку, — пояснил Его Макс. И вернулся к своим тревогам.

Прокурор, естественно, его тоже не пощадит. Хотя и не убивал товарища прокурора, а могут докопаться, что причастен.

— Свидетели?

— Есть у них свидетели.

Его Макс рассказал про Егора. Пригред гадину, а он переметнулся. И ведь не с ветру взял — Кузьма Прокопьевич рекомендовал.

— Своей... — вставил Родион Силыч.

Артист согласился. Он понимал — своей головой надо думать. Тем более были признаки, чуял: сколько волка ни корми... Но сейчас забота не о том. Ему, Его Макс, и вообще ее не сносить, головы-то...

Купец равнодушно молчал. Вспомнил: однажды, на грани банкротства, просил кредита. У кредитора была странность. Кошелек обматывал длинной шелковой бечевкой. Если, разматывая, делал вдруг моток в обратную сторону — значит, отказал. Надо вставить и уходить. У Родиона Силыча не хватило силы уйти. Еще просил, убеждал. Сколько слов нагородил... С тех пор, наверно, и отвращение к словам появилось. Так и артист сейчас. Чего он городит! Не допустить этого судебного разбирательства? Попробуй не допусти! Спасти от суда Его Макса? Подумал бы, болван, во что это обойдется, в какую сумму. Ого, угрожает! Могут всплыть нежелательные имена. Пусть всплывут. Любой адвокатишка ему разъяснит, чем грозят ложные показания и клевета на уважаемых людей.

Когда прекратит это словоизлияние? Неужели не понимает, что он — отыгранная карта!

Его Макс не понимал, пришлось купцу открыть рот.

— Не было...

— Знаю, что не было такого... контракта, — согласился артист. — Но полагаю — это само собой... Защитить...

Бородавкин нахмурился, показывая, что разговор окончен.

— Что ж, Родион Силыч, — сумел улыбнуться Его Макс, — спасибо за беседу. — И вышел, гордо подняв голову, но забыв запереть за собой дверь.

Родион Силыч еще раз досадливо поморщился, запил все это рябиновой и вернулся к своим мыслям. Да, погромы ничего до конца не решили. Будут, видимо, еще крупные стычки. Справятся ли наши олухи даря небесного да и земного? Впрочем, у нас каждый за брильянт себя почитает. А брильянты ярче всего блистают на темном фоне. Вот и создают фон! Правители! Ни гибкости, ни решительности! Сколько партий в стране развели: монархисты, коммунисты, социалисты-революционе-



ры, анархисты, конституционалисты, либералы. Сейчас новая создается — кадеты какие-то — партия народной свободы. Черт те что! Неужели нельзя все эти партии прибрать к рукам, сначала лидеров подкупить, а потом запретить, как в цивилизованных странах. Забастовщиков штрафовать, увольнять, на другие предприятия под разными предложениями не брать. Все можно сделать, если вести твердую политику...

Шум, доносившийся из-за дверей, мешал Бородавкину. Его Макс с апломбом, нарочито громко заказывал обед. Куропатку в вине поджарьте, бефстроганов. Гарнир сложный... И, помимо прочего, бруснички расстарайтесь.

Купец поднялся, чтобы закрыть двери, и услышал негромкое требование Василия Васильевича:

— Деньги вперед-с.

«Предусмотрителен Василий Васильевич. Догадлив! — мысленно похвалил Бородавкин. — А актеришка — пустяковая личность. Фокусник, трюкач. Эффект сильный, но исчисляется минутами».

Бородавкину вдруг не захотелось продолжать обед. Не расположен он был сегодня и заниматься делами. Высоко держа голову и будто ошестившись своим горбом, вышел из ресторана, никому, в том числе и почтительно провожавшему его Василию Васильевичу, даже не кивнув. Сел в свою кошевку, накинул на ноги поверх подола меховой шубы медвежьей полость, приказал кучеру:

— Гоня по городу.

Кучер, изучивший все капризы своего барина, сам выбирал маршрут. Теплая бесснежная погода благоприятствовала прогулке. Прорехав город из одного конца в другой и возвращаясь обратно, бородавкинский экипаж оказался возле дома протоиерея Водовского.

«А что если закатиться ненадолго к попу? — подумал Родион Силыч. — Анемподист Антонич — мужик неглупый, да и любопытно узнать, какие подарки шлет ему епископ Макарий».

Поп сидел все в том же кресле под иконами. Так же чуть на отшибе от других святых выделялся лик, похожий на Анемподиста и седой бородой, и летящим навстречу лбом, и взглядом, от которого невозможно укрыться. И снова из глубины квартиры донеслись звуки рояля, Мария Анемподистовна томным голосом возвестила:

Я грушу, если можешь понять  
мою душу доверчиво нежную.

Все было по-прежнему. Только на этот раз Родион Силыч не отказался от рюмочки домашней наливки. Беседа вначале шла во всегдашней их манере, с паузами, скрытой полемикой и иронией. Купец осторожно заинтересовался, как отец духовный оценивает текущий момент. Протоиерей, помолчав, скромно возразил:

— О делах мирских вам ли у меня почерпать, многомудрый Родион Силыч. Не наоборот ли скорее?

— И все-таки?

— От вас, Родион Силыч, не скрою, ежели не смятенны, то тревожны мысли мои.

Купец кивнул, как бы поощряя хозяина дома.

Протоиерей начал издали:

— Православная церковь, имея во главе священную особу государя, всегда была опорой державы российской.

Бородавкину такое слишком риторическое вступление не понравилось. Он замкнулся, каменно замолчал.

Анемподист в пику гостю счел нужным подкрепить свою мысль:

— По городам и весям великой Руси возвышаются около семидесяти тысяч божьих храмов, часовен, молитвенных домов. Кто, как не церковь, воспитывает народ, учит повиновению власть придержащим, ибо в писании сказано — всякая власть от бога. Кто как не церковь не-



ослабно пестует юное поколение, распространяя на него влияние свое не токмо в храмах, но во множестве церковных школ, монастырских и иных приютах.

Бородавкин посматривал на Анемподиста. Плохо скрывал насмешливое удивление. Разошелся отец духовный. Но священник перешел к сути.

— Так для чего же ущемлять церковь? — с болью и недоумением спросил он. — Зачем рубить сук, на коем сидим?

— Вот уж не вижу ущемления, — возразил купец. — Только по линии сибирской железной дороги за последнее время около тысячи церквей и часовен понастроено. А годовой бюджет-то богоугодных заведений в России, сколько мне известно, давно за пятьдесят миллионов перевалил.

— Это все истинно, — согласился Водовский. — Однако не забывайте, почтенный Родион Силыч, что сюда входят не только ассигнования государственного казначейства, но и суммы от кружечного сбора, пожертвования доброхотов и попечителей. Впрочем, суть не в этом. Тревога видится мне в уходе с высокого поста обер-прокурора синода Константина Петровича Победоносцева. Это муж твердый в вере и благочестии. Известен своей борьбой с расколом и сектантством, с ересью графа Толстого.

На этот раз Бородавкин откровенно поморщился. Переоценил он попа. Явно переоценил. Хитрость — еще не ум. Этого Константина Петровича давно бы надо гнать. Тупица и мракобес верноподданный. Из-за таких весь сыр-бор... Единственное, пожалуй, достоинство — как и он, Родион Силыч, слова расходует экономно. Передают, резолюции лаконичные пишет. Например: «Нельзя», «Против», «Вы что, а?» и даже просто «А».

А во всем остальном — деятель давнего прошлого. И что в нем нашел протоиерей? Видать, и сам-то...

Потеряв интерес к отцу Анемподисту, купец уже собрался было откланяться, но тут, как мысленно он определил, случилось явление неожиданное. Очевидно, очаровав горничную или даже саму Марию Анемподистовну, поскольку музыка в эти минуты смолкла, без доклада ворвался неукротимый Его Макс.

Обложив священнику руку, артист изложил протоиерею ту же просьбу, с которой обращался к Родиону Силычу. Против ожидания купца, Анемподист слушал артиста с сочувственным вниманием. Выслушав, проникновенно заявил:

— Радуйся, сын мой. Возликуй духом. Ибо гласит Евангелие: «Блаженны изгнанны правды ради, яко есть тех царство небесное».

— Спасибо, батюшка. Но не могли бы вы замолвить за меня словечко перед прокурором. Слово-то ваше дорого стоит.

Протоиерей нежно, как на сына, посмотрел на артиста.

— Что перед прокурором! — поднял глаза к небу. — Перед богом нашим милосердным слово за тебя замолвлю... Знаешь ли, сын мой, как гласит тридцать шестой псалом Давида: «От господа спасение праведникам. Он — защита их во время скорби; и поможет им господь и избавит их; избавит их от нечестивых и спасет их, ибо они на него уповают».

Бородавкин подумал, что для другого этого было бы достаточно. Для другого. Но не для Его Макса.

Артист восхитился святыми словами, однако отважился сызнова попросить:

— Нельзя ли все-таки замолвить не только перед господом, но и перед прокурором...

Купец ожидал, что иконописный лик протоиерея обретет обычную суровость. Но Анемподист только поднял глаза к потолку, желая подчеркнуть отрешенность от всего суетного.

— Я, сын мой, в мирские дела не вмешиваюсь.



Роднон Силыч подумал, что и недооценивать попа нельзя. Ловок поп, и чувство юмора у него есть. А чувство юмора купец высоко ценил: скрашивает серую эту жизнь.

## 17.

Голиков, пожалуй, не смог бы вспомнить, когда он так волновался из-за своих стихов. Может быть, когда принес в редакцию первое. Но в тот день волнения были иного рода. Сейчас поэту казалось, что решается его судьба не только в литературе, но в чем-то гораздо большем. И приговор, который вынесут эти люди, будет категоричным и не подлежащим обжалованию. А люди меньше всего походили на судей. Добродушные, улыбчивые, они сидели вокруг скобленного стола. В центре — хозяин квартиры, однорукый инвалид в выцветшей солдатской гимнастерке, его дочь — в скромном ситцевом платье. На столе стояла четверть самогона, нехитрая закуска — солонина, грибы, сало, домашняя колбаса.

— Значит, ты, Даша, будешь невеста, — распоряжался немолодой усаый мужчина.

«Где я его видел? — вспоминает Иван. — Господи! Да это же тот, который выступал тогда на собрании, когда они с Настей... Он! Антоном Семеновичем зовут. И рука у него висит, а усы, видать, отрастил. Говорили, в больнице он. Значит, поправился. Только шрам на лбу остался.

— Выбирай себе жениха, — продолжает Антон Семенович.

Даша и без того краснощекая, под общий смех зарделась еще сильнее. Молча уставилась глазами в стол.

— Егор подходит? — указывает Антон Семенович на притулившегося в конце стола гоньбинского парня.

— Я нет... я... — смущенно бормочет Егор.

— От такой невесты отказывается! — разводит руками Антон Семенович.

Новый взрыв хохота покрывает его слова.

— Да у меня, вишь, своя есть... В деревне, — поясняет Егор, краснея еще больше, чем Даша.

— Может, я сойду за жениха, — предлагает Миша Ильин.

— Пожалуй, еще сойдешь, — оглядев его, соглашается Антон Семенович. — Но лучше вот он, правдоподобнее.

Здоровой рукой указывает на молодого белесого парня с волосами, напоминающими кудель.

— Прошу вас, господа гости, наливайте себе в чашки, кладите на тарелки закуску. Что вы, первый раз, что ли? Ну вот. А теперь можно и послушать нашего поэта Ивана Ивановича Голикова.

Ивану хочется сказать о многом. Прежде всего о том, как круто изменилась его жизнь после смерти Насти. Рассказать, как лежал он на своей кровати лицом к стене и картины воспоминаний теснили, щемили сердце. И как Настя спрашивала его, где же виновники? Спрашивала несколько раз, все более настойчиво и строго.

После этого часто вспоминал слова Реброва: «...не настигает вас такое, когда к черту утра, вечера, ночи — всякое расписание. Когда это кромешно — писать, как рожать...»

Настигло. Пришло с пережитым. Все перевернулось с гибелью девушки, которую он и знал-то считанные дни. Настя живет в нем. И вкус ее единственного поцелуя, и легкий запах ее духов, и последние слова: «Я ведь не умру. Я ведь буду жить!.. Это нелепо в девятнадцать...» Они слышатся Ивану во сне, в полусне, наяву. Он скрипит зубами от горя, бессильной обиды, мучительной ненависти.

Куда подевалась теория о тщетности социальных битв, о том, что они не ведут в земной рай! Теперь он уверен в другом: на земле не бу-



дет радости, если не уничтожить, не смести всю эту нечисть. И колченогих, и кусочников, и их вдохновителей.

Работая над поэмой о детстве, он обозначил для себя норму: восемь строк в день. Радовался, когда удавалось написать двенадцать. Сейчас не считал строки, даже страницы. Клопоча, обгоняя друг друга, полились слова. Так, наверное, течет плавленный металл, когда разобьют летку.

Заходил Стремжицкий. Иван читал ему написанное. Старик бегал по комнате, кричал: «Матка боска! Это настоящее! И лирика, и вместе сатира! Не в бровь, а в глаз!» Появлялись Ребров и Ильин. Павел Поликарпович оценил новую работу более трезво. Стихи, по его мнению, чем-то проигрывали в сравнении с изысканными, отточенными, какие Иван писал раньше. Но есть в них злоба дня, жизненность, ирония. Те старые стихи были резным украшением, эти — необходимая вещь. Когда-то Голиков соединит в своей поэзии то и другое и станет большим поэтом.

Объяснив все это, издатель неожиданно заключил:

— Как только газету разрешат, я напечатаю это в первом же номере.

Голиков возразил:

— Тогда второго не будет.

— Даже если и так.

Вышло почти так. Газету, правда, не закрыли, но Реброва оштрафовали, а номер конфисковали. Ивану Ивановичу грозило обвинение по статье 245 о преступлениях государственных: «Составление злостных сочинений с целью возбудить неуважение к верховной власти». Поэту пришлось перейти на нелегальное положение.

Обо всем этом хотелось Голикову рассказать своим слушателям. Но он проговорил только:

— Поэма написана после погрома. Она так и называется — «Погром».

Читал Иван Иванович на память. Как большинство поэтов, чуть нараспев, подчеркивая ритмический строй стиха.

Не погода разыгралась  
по дубравушке лесной,  
и не море взволновалось  
темно-бурую волной.  
То надежный, долгожданный  
славный Венька-патриот  
бить политику погану  
рагь ночлежников ведет.  
Край родимый! Мать-Россия!  
Что скажу тебе, скорбя,  
коль защитники такие  
появились у тебя?..\*

С первых строк, с первых минут чтения Иван почувствовал, как сродни этим людям его душевная боль, горечь его дум. Промельком сверкнуло в сознании, что олимпийское «Хвалу и клевету приемли равнодушно» только пожелание. Нельзя быть равнодушным к чужому мнению. Нельзя писать ни для себя, ни для вечности. Только для людей, которые здесь, рядом...

Слушателей полонил сюжет поэмы.

Простоватый парень, недавно перебравшийся в город из деревни, поверил погромщикам, всей душой принял церковное благословение и пошел громить социалов. Убийства, насилие над женщинами, грабеж — все это наивному политическому недорослю довелось увидеть своими

\* Первое четверостишие, а также некоторые сюжетные мотивы поэмы взяты у барнаульского поэта Ивана Ивановича Тачалова, бывшего свидетелем событий 1905 года.



глазами. Подобно Егору, возмущенный, он избил одного из организаторов погрома.

Егор открыл рот, да так и забыл закрыть его, когда Иван кончил.

— Учись, парень, грамоте, — посоветовал Антон Семенович. — Будешь сам такие книжки читать...

— Это и не книга совсем, — возразил Егор. — Это все правда.

— Правильная книга, — убежденно согласился инвалид.

— Шибко вы их! — восхитился «жених». — И точно, как они народ охмуряют. Я это на себе спытал, на своей шкуре, когда меня свои же рабочие с лесозавода вытурили.

— Так он же, Ванька-то... — начал было Миша Ильин, но смущенно поправился: — Он же, Иван Иванович, из нашеньких из пимокатов.

Жених не поверил:

— Бухнешь тоже. Из пимокатов.

— Гуляете, стало быть?

Иван не сразу воспринял этот возглас, не сразу оглянулся на дверь. А в дверях стояли двое мужчин, в аккуратной спитых одинаковых зимних пальто с черными каракулевыми воротниками.

— Гуляем! — подтвердил инвалид. И беспечно повторил: — Гуляем! А чего нам — одна живем. Да и гуляем не просто так. Дочку взамож выдаю.

— Помолвка у нас, — пояснил Антон Семенович. — А вы, извините, откуда будете?

Голиков заметил, что вошедшие похожи друг на друга не только одеждой, но и еще чем-то другим. Какой-то неуловимой жесткой сухостью. Они не ответили на вопрос. Вместо этого один, который постарше и чуть повыше ростом, заявил:

— Сговор у вас.

— Помолвка, — ответил инвалид. — Ну, ежели по-старинному — сговор. Вот товар, а вот купец. — Он указал на дочь и парня с кудельными волосами.

— Так, так, — стоял на своем вошедший. — Понимаем, какой у вас сговор-то.

— А чего тут понимать, — равнодушно сказал инвалид. — Дело житейское.

— Житейское, — усмехнулся второй непрошенный гость. — Нам вроде тут и делать нечего.

— Да вы кто такие будете? — спросил инвалид. — Мы, кажись, вас и не знали.

Егор припомнил старуху, которая выпроваживала их с Егором от Витьки Сильного, повторил ее поговорку:

— Почаще мимо нас!

— Оно бы и мимо можно, — снова заговорил старший и сделал шаг к столу. — Да уж хитрость-то ваша, господа хорошие, больно на виду. Гуляете, а хмельных не видно.

— Так и водится на подобных гулянках, — заявил его спутник. — Они ежели пьянеют, то от другого. От злости своей на государя, на землю родную.

Инвалид поднялся над столом, темнея лицом, проговорил:

— Ты полегче! Я в эту землю руку зарыл. Тебя, понимаешь, там не было, ты тут с бабой в постели баловался.

— Но, но! — Старший подошел к инвалиду вплотную. Достал из внутреннего кармана небольшую темно-коричневую книжечку. — Грамотный? Читай. Будешь знать, с кем разговариваешь.

Инвалид единственной рукой презрительно отстранил книжку:

— Чего мне читать. От тебя за версту жандармом несет.

Голиков удивился: как он сразу не догадался. От этих мерзавцев действительно жандармами несет.



Младший оглядел инвалида с недобрим любопытством:

— Бывалый.

Старший добавил:

— Ничего, мы до него доберемся!

— Когда рак свистнет! — дерзко ответил инвалид.

Жандармы помолчали. Младший с досадой выдал:

— Помолвка у них. Не придерешься. Придется нам уходить не со-  
лоно хлебавши.

Иван понял: этот младший у них главный.

Жандарм повернулся к двери, махнул рукой:

— Что ж сделаешь! Пошли.

— Скатертью дорога, — победно провожал инвалид.

— Ой, чуть не забыл, — вернулся к столу жандарм. — Чуть не забыл! А Голиков-то кто из вас будет? Голиков Иван Иванович... Поэт. Виршеплет. Ну-с, чего молчите? Нам известно, что он среди вас. А то всех возьмем. У нас место найдется.

Иван Иванович только хотел подняться, в своей обычной манере сухо спросить: «Что вам угодно?», как услышал:

— Я — Голиков.

«Егор!» — чуть не вырвалось у поэта. Антон Семенович крепко прижал его руку к столу.

— Вы — Голиков? — оглядел его главный жандарм. — Ишь, какой добрый молодец.

— А стихи ваши где?

— Все со мной, — негромко ответил Егор.

— А ну давайте их сюда.

Егор помолчал.

— Нельзя, господин жандарм.

Жандарм засмеялся:

— Что так? А может, можно?

— Мы поможем найти-то, — подтвердил и тот, что повыше.

— Зазря, стало быть, стараться будете.

— Как вы под народ-то играете, — заметил главный из жандармов.

— Не хуже вас, — вмешался Антон Семенович.

— А вас куда не спрашивают! Так отчего же зря? Скажите, просветите ради Христа.

— А они у меня тут. — Егор указал на голову.

— Значит, в голове, — уточнил жандарм. — Ну ничего, мы вышибем их оттуда.

#### ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Егор шагал между двумя жандармами и улыбался. Спасибо все ж таки артисту Егору Максиму, приодел маленько, а то кто бы его, деревенского увальня, за самого Голикова принял. На душе было светло. Шутка в деле, какого человека собой заслонил! А то теперича вели бы его, а там, может, колотить бы зачали. Не впустую, чай, грозятся! А он, Иван-то Иванович, и без того осунулся — одни скулы торчат. Только шиш им до него достать. Рабочий люд его в обиду не даст...

Жаль, вот не запомнил Егор этот его «Погром». С одного раза все в башку не влезло. Только кой-какие места. Особо, когда громилы расходились.

Вот нишо. На шапке бляха.  
Ах ты, чертов пономарь!  
Кирпичами немоляху,  
пусть помолится, бунтарь.  
Хорошо бы емназистку  
нам пригожую поймать.  
Сообча ее потискать,  
где-нибудь оравой взять...



Дорога оказалась недлинной — до большого серого дома в другом конце той же улицы, где проживает протоиерей Анемподист. Егора провели мимо часового в подвал, заперли в тесной полутемной комнатухе. В самом верху зарешеченное маленькое окошко. Сквозь решетку скупо проникает свет. У сырой, промозглой стены привинченная к полу койка. Рядом с ней табуретка.

И сюда они, гады, хотели запрятать Ивана Ивановича! Егору-то чо! Давно ли он под таборами на реке спал. Ему здесь-то даже способней.

Лег на жесткую койку, чтобы уснуть и, выспавшись, обмозговать свое положение. Но уснуть не пришлось: ворвались жандармы.

— Встать! — приказал главный. — Здесь не курорт.

Егор нарочито поспешно поднялся. Безучастно взглянул на своих тюремщиков. Те подошли к нему близко. Перебивая друг друга, заорали, зарывкали:

— Над властями измываться!

— Патриотов позорить!

— Талант, от бога данный, во зло употреблять!

Егор ухмыльнулся: «Недоумки! Голикова устрашают!» И охнул, переломился от боли. Успел только подумать про того, который выше: «Умеет бить, сволота!»

Другой жандарм ударил его по зубам, но Егор увернулся. Удар пришелся скользом. Изловчился, схватил обоих своих мучителей за грудки, шмякнул друг об друга. Почувал, как они обмякли, хотел повторить таким же макаром, но очутился на полу. На этот раз получил увесистой железной палкой в затылок. Егор не видел нанесшего ему этот удар. Только, теряя сознание, услышал незнакомый голос:

— Этак с ними надо. По старинке. А вы кулаками.

Егор не помнил, сколько раз избивали его в этом подвале. Иногда отливали водой, снова били. Главный из мучителей пояснял:

— Знаешь, зачем мы тебя бьем? Полагаешь, просто тешимся. Здесь спроста ничего не делается. Бьем мы тебя для того, чтобы когда, ежели жив будешь, сидеть писать, подумывал, чем крамольные-то писания кончаются. Знал бы, что у государя есть еще верные слуги и оборонить его могут.

Сжимая зубы, постанывая от боли, Егор не расставался с одной спасительной мыслью: они его здесь запугивают, а Иван Иванович далеко. Может, еще и не такое пишет!

Потеряв счет избияниям, парень потерял и счет времени. Не знал, сколько его здесь держат — два, три, десять дней.

Одним утром явился главный из жандармов, приказал заложить руки назад, повел по лестницам на второй этаж.

Каждый шаг больно отдавался в груди, в голове, жгло спину. Егор приостанавливался, боялся упасть. Дорога на второй этаж показалась шибко крутой и длинной.

Наконец жандарм постучал в дверь одной из комнат. Оттуда донеслось:

— Войдите.

Жандарм впихнул вперед Егора. Гоньбинец ахнул от удивления: за столом сидел добрый барин Кузьма Прокопьевич.

Хотя теперь Егор от своих новых друзей знал, кто таков Кузьма Прокопьевич, нечаянно подумалось: «А вдруг как выручит по старой памяти?»

Барин удивился, сказал:

— Знакомая личность! Эк тебя разукрасили! Ну, поделом, поделом! Слышал о твоих похождениях. — И обратился к жандарму: — Зачем он мне? Я Голикова жду.

— Это и есть Голиков, ваше высокоблагородие.

Жандарм улыбался, будто преподнося подарок.



— Что-о? — разом взнял голос Кузьма Прокопьевич. — Так вы этого Голикова и забрали?

«Этого Голикова» было произнесено так, что жандарм все понял. Однако улыбки с лица убрать не успел.

— Так точно! Этого!

Кузьма Прокопьевич заходил по кабинету. Хищный с горбинкой нос нацелился на жандарма.

— Дожили! Офицер его величества корпуса жандармов. Сотрудник политического сыска! Кто вас вокруг пальца обводит? Деревенский мужик. К тому же неграмотный. Ты ведь грамоте не обучен, как тебя, Егор, кажется?

Егор подтвердил:

— Не обучен.

— С чем и поздравляю. — Кузьма Прокопьевич даже поклонился жандарму. — Нашли кого подвергать содержанию под стражей! Кормить, поить здесь. Будьте добры, объясните — чем он похож на поэта? — Барин еще раз поглядел на Егора. — Вылитый лирик!

— Мы полагали, он работает под простака.

— И наружность изменил! И вообще, какой расчет ему в этой самой работе под простака?

Барин заходил по комнате. Егор понял: трудно смиряет себя.

— Ну что ж, Егор, — остановился он против гоньбинца. — Видимо, не пошла тебе впрок моя наука. Думал я из тебя человека сделать. Да ты иных наставников сыскал. Что ж, — повторил он, — желаю успеха. — И бросил жандарму:

— Освободить его!

— Ваше высокоблагородие, — всполошился жандарм, — думается...

— А вы способны думать? — остановил его барин. — Впрочем, вы это уже доказали. Мыслитель! Мыслить — это вам не рукосуйством заниматься! Помыслите, где вы Голикова возьмете и как будете докладывать его превосходительству! Я ведь именно вас попрошу писать рапорт...

Через несколько минут Егор оказался на улице.

Тяжелым звоном звенело в ушах. Так хотелось пить, что парень жадно хватал горстями снег. Исполосованную спину жгло, словно к ней приложили каленые железные прутья.

Шибко измордовали палачи, застеночники.

Но Егор дивился себе. На душе было спокойно, даже бодро. Не свербило то одичалое одиночество, та бесприютность, какие владели им еще недавно.

Теперь у него были друзья. Они уже успели за эти прошедшие после погрома дни немало помочь ему. Помогут и далее.

Правда, сегодня он к ним не пойдет. Он хоть и темный, неграмотный, но не так прост, как думает Кузьма Прокопьевич. Дотумкал, про что барин шигел, поводя хищным своим носом. «Помыслите, где вы Голикова найдете!» Решил, видать, коли Егор за Голикова побои принял, то, стало быть, близко его знает, в дружках ходит и к нему направится.

Пусть последят. Он покуда никуда не пойдет. Можно и на сеновалах две-три ночи переночевать, и впроголодь перебиться. А там с Мишей Ильиным повидается. Тот Антона Семеновича найдет. Антон Семенович знает, что делать...

Нет, не так страшно, когда мордуют тело. Страшнее, когда душу! Ничего они с Егором не сделают. И домой он еще вернется. И Ньюру свою увидит. И обогреется возле отцовских печей. Отец их надолго ставил. Они еще греют, отцовские просторные деревенские русские печи.





Козодоев Владислав Игнатьевич родился в 1940 году в Донбассе в шахтерской семье. После окончания Алтайского сельхозинститута долгое время работал зоотехником. Много лет был журналистом. Автор двух поэтических сборников, вышедших в Донецке и на Алтае. Живет в Барнауле.

Владислав КОЗОДОВ

## И ДОЛГИЙ-ДОЛГИЙ ДЕНЬ...

### ПЕСНЯ

О Родина негромкая моя,  
седые дали, вербы у дороги.  
Найду ли я, тревоги не тая,  
нелестивого, несуетного слога,

чтобы воспеть все пажити твои,  
все радости твои и все печали.  
Тебя и так воспели соловьи  
на все лады в черемуховых чащах.

Воспели говорливые ручьи,  
воспели ливни теплые в июле.  
И рощи златоверхие твои,  
что навсегда застыли в карауле.

И в день, когда под тяжестью снегов  
по городам и весям стонут крыши,  
я выйду в поле снежное и вновь  
все ту же песню о тебе услышу.

Напев ее печальный и простой,  
слова, как зерна в колосе пшеницы.  
Я, русский, буду вечен с песней той,  
поскольку сам я песни той частица.

### БЕГЛЕЦУ

Ну как же это он,  
ведь на Руси родился,  
уехал за кордон,  
домой не возвратился!

И оболгал страну  
ту, что его взрастила,  
соседей и жену,  
и прадедов могилы.

А я ведь знал его,  
в одной учился школе.

Послевоенный год  
запомнишь поневоле.

Разобранный плетень,  
барак под стылым небом  
и долгий-долгий день,  
как очередь за хлебом.

Я в ней стоял порой  
под ливнем и под градом,  
но в очереди той  
его не видел рядом.

И, может, не в укор  
кому-то вспомнить надо —  
отец мой был шахтер,  
его отец — завскладом.

И часто видел я,  
как вечером с работы  
он, от людей таясь,  
тащил домой чего-то.

И видно, потому  
был сын здоров и гладок  
и горек был ему  
тот хлеб, что нам был сладок.

\* \* \*

Я запомнил: в год послевоенный,  
по весне, когда снега сошли,  
в блиндаже заросшем за сеньем  
человечий череп мы нашли.

Чей он был, какой земли солдатом,  
муж бывалый или же юнец?  
В полости, где мозг лежал когда-то,  
поселился сплюснутый свинец.

И как бы из далей запредельных  
в эту степь и эти небеса



темными провалами глядели  
цвета непонятого глаза.

И ни искры в глубине бездонной,  
и ни отраженья, бог ты мой!  
И на гладком лбу, как у мадонны,  
не было морщинки ни одной.

Человек отмыслил, от мечтался  
и сейчас глядел со стороны.  
И, казалось, череп улыбался  
страшную улыбкою войны.

## НАХОДКА

Я собирал объедки на базаре,  
на затхлых свалках рылся, словно крот.  
Ведь со столов голодными глазами  
глядел на нас послевоенный год.

И нужно было выжить непременно,  
хоть это было, в общем, нелегко,  
поскольку на Руси послевоенной  
осталось очень мало мужиков.

Все это вспоминается, как небыль.  
Но только не забыть мне никогда,  
как я нашел однажды булку хлеба  
на пустыре, где стыла лебеда.

Я был находкой этой огорошен,  
но понял, поглядев по сторонам,  
что не потерял хлеб, а просто брошен,  
как и бутылка та из-под вина.

И, спрятав этот хлеб под рубашонкой,  
я нес его домой, где, словно тень,  
бродила исхудавшая сестренка,  
не поднималась мать который день.

Был хлеб к спасенью ихнему причастен,  
пусть муравьями он подпорчен, пусть.  
Был в доме хлеб, а значит, было счастье,  
так отчего на сердце нынче грусть!

Уж сколько лет живу под мирным небом,  
ни голода не зная, ни беды,  
но часто я задумываюсь — хлеб тот  
кто мог оставить среди лебеды!

Когда страна в бесхлебье изнывала,  
смерть наяву ходила по земле,  
откуда же мог взяться объедала,  
чтоб взять вот так небрежно бросить хлеб!

То время никогда не повторится  
(всегда себя надеждой этой льщу).  
И только зорко вглядываюсь в лица  
и до сих пор преступника ищу.

## ТРОФЕЙНЫЕ ЛОШАДИ

В наш колхоз, войною опаленный,  
с избами без окон и дверей  
как-то на полуторке зеленой  
привезли трофейных лошадей.

Это были два тяжеловоза  
с гривами короткими в пыли.  
Из какого черного обоза  
к нам они, нелегкие, пришли!

В их глазах покорных, рыжих челках,  
в выкройке ненашенской узды  
виделся опять нам отблеск черной  
неизбывной в памяти беды.

Не из той ли пушки, что покорно  
лошади тащили по земле,  
к нам летели градом похоронки,  
и пустели избы на село!

Лошади послушные стояли,  
думая о чем-то о своем.  
Ни за что они не отвечали  
и виновны не были ни в чем.

И, конечно, это понимая  
всей душой, но, поплевав в ладонь,  
лошадей в тяжелый плуг впрягая,  
конюх туго стягивал супонь.

И на лемех налегая грудью,  
он с такою злостью понукал,  
будто в это мирное орудье  
он запряг проклятую войну.

И за ней, склонившей молча выю,  
борозда тянулась, как вина.  
И в селе поверили впервые,  
что победой кончена война.

## КОЗЬЯ ХИТРОСТЬ

А тетя Клава хитрою была:  
козу два года в подполе держала,  
когда ж война на запад ушагала,  
опять на свет худобу извлекла.

Все унесла военная гроза.  
Как после грандиознейшей усушки,  
в селе остались только две несушки  
да старый кот.

А тут, гляди, коза!

И вот она, как снятая с креста,  
на божий мир глядела с изумленьем.

И было той козы для нас явление чудесней, чем явление Христа.

Облезлая, но, как искусный врач, ее природа быстро исцелила и снова пухом шерсть посеребрила, надула вымя, как футбольный мяч.

И зазвенели струйки молока, по вечерам соседей будоража, как музыка, которой нету краше да и мажорней не сыскать пока.

И тете Клаве стало легче жить. К ней приходили вечером соседки, просили молока, чтоб постный, редкий крапивный суп хоть чем-то забелить.

И в подоле несли ей кто что мог: кто масла конопляного косушку, обмылок ли, сиротскую горбушку, кто ситца полинявшего кусок.

И тетя Клава, отводя глаза, брала подачки эти и старалась, чтоб молока всем жаждущим досталось. ...Но не корова все-таки, коза.

Хотя хватало на лугах травы, но были все же скудными надои. Хозяйка разбавляла их водою почти что до небесной синевы.

И мать, с той синевой придя домой, у печки суетилась и бранилась: — Да чтоб ты тем обмылком подавилась, да чтоб ты захлебнулась той водой.

...Немало лет прошло с тех пор, и вот я вновь сюда вернулся в летний полдень. И вижу мать, проклятий тех не помня, гутарит с тетей Клавой у ворот.

Все о былом, где радость и беда сплелись, как хмель кудрявый за избою. Я ж молоко вдруг вспомнил голубое, ведь память детства — это навсегда.

То охладит, то опалит огнем, то истину подарит нам, то ересь. Но, в честности людской не разуверясь, я тетю Клаву не виню ни в чем.

О вдовья горемычная судьба, ей козья хитрость не дала богатства, не обновила вдовьего убранства, без мужних рук состарилась изба.

В светлице те же два половика да фото мужа в выцветшей оправе. Одно приобретение — тетя Клава не признает чужого молока.

## ЧАСТНЫЙ СЕКТОР

Доштатый дом, оградка и сирень, и огород, и тихая беседка. О сколько лет и как было не лень вас бичевать как некий частный сектор.

Заборы злополучные, о вас написаны язвительные строки. За что, не знаю, вы в недобрый час поэтам встали поперек дороги.

И верных псов, пускай порою злых, конференсье с эстрады линчевали, серьезно уверяя нас, что в них опасность есть падения морали.

И сдвинулись понятия наши вдруг и стали вроде непреложных истин: собака для забавы — это друг, собака-сторож — враг и ненавистник.

А огород, как барская земля, Хоть в наше время смешивать нелепо любителей капусты и щавля с хозяйчиками дней далеких нэпа.

А ведь собаки нам еще нужны, а ведь нужны нам крепкие запоры, поскольку прав гражданских лишены не все еще мошенники и воры.

Пусть псы на тех, кто хочет жить хитро, за счет других, ощеривают пасти. Они надежно стерегут добро и многих моралистов беспристрастней.

\* \* \*

Я пришел, чтоб жить на этом свете, чтоб природа любовалась мной. Я пришел, чтоб встретить все рассветы, те, что мне отсчитаны судьбой.

Я на сотню лет замешан круто. И тому смертельный недруг я, кто отнять посмеет хоть минуту моего земного бытия.





Леонид Семенович Мерзликін родился в 1935 году на Алтае. Окончил культпросветучилище и Литературный институт им. А. М. Горького. Автор одиннадцати поэтических книг, вышедших в Москве и на Алтае. Член Союза писателей СССР. Живет в Барнауле.

Леонид МЕРЗЛИКИН

## ВСПОМИНАЮ ВСЕ СНАЧАЛА

### ЗИМНЯЯ РОЗА

Не может Алтай без мороза,  
А я не могу без Алтая...  
Проснулся и вижу я — роза  
В окошке цветет золотая.

Роса ее, нет, не кропила,  
И птицы не пели над нею,  
Она на стекле проступила  
Красой ледяною своею.

Негромко, с пониманием такта,  
В сенях гоготали гусыни.  
Давно не лежал я вот так-то:  
В деревне, в гостях, на перине.

Рассвет был и тих и отраден,  
Смотрел я на розу в окошке,  
Висел на гвозде тети-Надин  
Платок в рассыпные горошки.

Ей стайку бы надо поправить,  
Вернее, построить, а эта  
Совсем завалилась, и ставить  
Скотину ей негде до лета.

Последней-то дочке дарила.  
— Бери, — говорила, — теленка.  
А дочка лишь губы скривила:  
— Нет, мамочка, мы «Жигуленка».

И роза. И грубая проза.  
Задача совсем не простая.  
Не может Алтай без мороза,  
А я не могу без Алтая...

\* \* \*

Дерева над обрывом,  
Камень у воды.  
Хотелось быть счастливым,  
Подальше от беды.

Хотелось, да напрасно.  
Не вышло, не дано.  
Поверх волны-то ясно,  
Да под волной темно.

— Борись, — мне говорили, —  
За счастье за свое!  
И я в поту и мыле  
Боролся — о-е-е!

Боролся, да напрасно.  
Не вышло, не дано.  
Поверх волны-то ясно,  
Да под волной темно.

Я бился, сатанея,  
На ветер плыл, гребя,  
Казался сам себе я  
Сбежавшим от себя.

Казался, да напрасно.  
Не вышло, не дано.  
Поверх волны-то ясно,  
Да под волной темно.

Стучит ко мне, стучится  
Последняя беда.  
Я знаю, что случится,  
Не знаю лишь — когда!

Напрасно ль не напрасно  
Прожил — уйду на дно.  
Поверх волны-то ясно,  
Да под волной темно.

### РОГУЛЬКА

По пальцу нету на руках,  
В селе зовут его Рогулькой,  
Он обзавелся малопулькой  
И разбирается в силках.

Имеет лошадь и «Москвич»  
И два зачем-то мотоцикла.  
На все село шуметь привыкла  
Его старуха. Что за дичь!

Корова, бык, полста гусей,  
В мотопехоте служит отпрыск,  
Домой два раза ездил в отпуск  
По телеграммам. Знай умей.

А лошадь Карьюю зовут,  
У этой Карьки жеребенок.  
На чернотроп за пять сотеннок  
Его казахам продадут.

А слух ползет: жу-жу, жу-жу.  
Зачем Рогульке малопулька?  
Но усмеяется Рогулька,  
Мол, это я как погляжу!

Где малолулька, там, глядишь,  
И карабин, и все, что надо.  
Стоит тесовая ограда  
Чуть не до самых не до крыш.

И как у Пушкина. Там кот,  
А тут собака, цепь золотая.  
Собака ходит у сарая  
И цепь золотую ту грызет.

\* \* \*

И всего-то ходьбы —  
От избы до избы.

Да и дел-то всего —  
Так, почти ничего.

Посижу, помолчу,  
Старый вальс докручу.

Ты на стол соберешь,  
Не пирушка, а все ж...

Вечерет в избе,  
Приглашаю к себе.

Ты придешь, посидишь,  
«Крокодил» поглядишь.

Я дровец наколю,  
Камелек затоплю.

Молча смотрим в окно,  
А на улке темно.

\* \* \*

Вспоминаю все сначала,  
Оборачиваю вспять...  
Сколько раз ты обещала  
Позвонить и написать.

Уезжала — не звонила,  
Не писала ни словца,  
Не маня, к себе манила  
Каждой черточкой лица.

Не зовя, ты призывала  
Из далека своего.  
Своды этого вокзала  
Не забыли ничего.

Я держу твои перчатки  
И небрежно тереблю.  
Я, как прежде, без оглядки  
И до одури люблю.

Но готово обещанье  
С губ твоих слететь опять...  
Обещай же на прощанье —  
Знаешь что! — не обещать.

\* \* \*

Снег шуршит за окном и витеет,  
Подсиняя ваш скромный уют.  
Что-то долго светать не светает,  
И электрики ток не дают.

На стене проступает картина,  
На столе словари полегли,  
Где-то шумно промчалась машина,  
Громыкнула и стихла вдали.

Знать и думать, наверное, важно,  
Что когда над землею темно,  
Чье-то так же, бессонно и влажно,  
Мир огромный пронзает окно.

Не на службу поднялся он рано  
И глядит через стекла на снег,  
С поседевшим виском ветерана  
Дорогой вам один человек...

\* \* \*

А печь известкой белена,  
Шубейкою устелена.

А на шубейке бабушка,  
Сыта и вполорадушка.



А мы к ней головенушки,  
Как с пенушка опенушки.

А бабушка печалится,  
Все сетует да жалится:

— И чо же это деется!  
На чо теперь надеяться!

По печке-то елозила,  
Коленки отморозила.

А вам в избе чо толку-то!  
А ну-ка марш на улку-то!

А мы к ней головенушки,  
Как с пенушка опенушки.

А нам никак не верится,  
Что бабушке не греется.

Нам сказки бы старинные,  
Чтоб длинные-предлинные.

Смеемся мы: елозила,  
Коленки отморозила!

А бабушка ругается,  
В своем углу копается.

Наохала, наохала —  
Всем по кусочку сахара.

## СЕНО

Вдоль по улице, по городу  
Сена плыл огромный воз,  
Индевенил дядьке бороду  
В тридцать градусов мороз.

Мерин с гривой подстриженной  
Мерно топал стороной.  
Над спиной с широкой рыжиной  
Пар клубился, как в парной.

И совсем уже забвенные,  
Я нисколько не лгу,

Сани чуть не довоенные  
Громко пели на снегу.

Не в тюках, а ископное  
Сено мяконькое, с вил,  
Шелестящее, зеленое,  
Словно кто вчера косил.

Опахнуло сено кашкою,  
Клеверами, чебрецом —  
И под шелковой рубашкою  
Сердце чвикнуло птенцом.

И наплыло лето красное,  
Речка с купами раки,  
По-над ними распрекрасное  
Солнце ясное горит.

Все тебе тут. И акустика.  
Жаворонок высоко.  
Косари, присев у кустика,  
Пьют из кринки молоко...

## ЯСНЫМ ДНЕМ

Каплет с крыш, дымит ограда,  
Тихо голубь воркотит.  
Ясный день — очей отрада —  
Над деревнею стоит.

Не зима — уже озимки,  
Два каких-то выходных —  
И весна к нам от заимки  
Прилетит на воронях.

Только веером ошметки  
Да на красный сапожок!  
День-другой — пора и лодки  
Волочить на бережок.

А потом и посевная,  
А потом, потом, потом...  
Мирно спит земля родная,  
Неоглядная кругом.

Ясный день — очей отрада —  
Голубь — сизые крыла.  
Вот и все, чего нам надо!  
А другим чего бы! А!

К 185-летию со дня рождения А. С. Пушкина

Семен САУНИН

## ЕЩЕ РАЗ О РИСУНКЕ ПУШКИНА

*Ираклию Луарсабовичу Андроникову —  
в память незабываемых встреч-уроков*

1.

В тридцать девятом выпуске журнала «Огонек» за сентябрь 1982 года опубликована статья Ларисы Керцелли «Рисунок Пушкина».

В ней рассказывается о том, как автор атрибутировал рисунок Пушкина, изображающий неизвестного генерала. Л. Керцелли пришла к выводу, что поэт нарисовал декабриста Волконского. Рисунок произведен и даже подписан: «А. Пушкин. Портрет С. Г. Волконского. 1832 г.».

Керцелли сообщает, что сравнивала рисунок Пушкина с широко известным портретом Волконского, написанным в 1822 году Дж. Доу для галереи Зимнего дворца героев 1812 года, с недавно атрибутированным портретом декабриста, рисованного П. Соколовым цветными карандашами ориентировочно в 1816 году, с фотографией Волконского 1850-х годов. Рисунок Пушкина, портрет, сделанный Соколовым, фотография опубликованы в журнале вместе со статьей. Портрет кисти Доу почему-то не опубликован. Это серьезное упущение, о чем речь пойдет ниже.

Площадь публикации в журнале невелика, поэтому аналитическая и доказательная часть атрибутирования рисунка Пушкина остались, вероятно и к сожалению, за ее пределами. Читатель знакомится только с выводами Л. Керцелли: «На рисунке Пушкина мы видим тот же высокий лоб, те же четко очерченные, довольно густые темные брови, тот же крупный «породистый» нос с горбинкой и чрезвычайно характерные, высоко вырезанные над височным кончиком носа ноздри, полную, слегка оттянутую нижнюю губу и крупный спокойного очертания подбородок».

Все здесь требует обоснования и доказательств. Далее автора публикации настаивает в рисунке Пушкина наличие некоторых черт, несвойственных Волконскому. И тогда Л. Керцелли строит предположение, которое помогает обойти затруднение — Пушкин сделал реконструкцию внешности декабриста, находящегося в Сибири: «...поэт как бы накладывает грим старика, вернее, человека, перенесшего тяжкие лишения и страдания: несколько искусственными выглядят складки на лице, морщины на лбу и мешки под глазами: необычны для военного и неряшливо повисшие, давно не стриженные волосы, и усов,

кстати, нет, они не нужны в этом случае (реконструкции — С.) Пушкину-художнику. Поэт и вправду, как видно, реконструирует новый облик Волконского, своеобразно домысливая то, чего, естественно, видеть не мог».

Здесь Л. Керцелли не заметила, как предположение, требующее обоснования, превратилось в утверждение.

Затем, обосновывая положение о том, что на рисунке Пушкина изображен Волконский, Л. Керцелли указывает на то, что сделан этот рисунок на листе (ПД 184/1, в. № 603) с черновым наброском неоконченного стихотворения «Желал я душу освежить...», в котором говорится о поездке поэта в 1829 году в Кавказскую армию к друзьям-декабристам и связанными с этим фактом возможными воспоминаниями об одном из них — С. Г. Волконском.

Но на этом листе имеется еще один текст. С одинаковым успехом рисунок Пушкина можно отнести и к нему. А это сводит на нет доказательную силу ссылки на стихотворение.

Все это не дает оснований для утверждения об иконографическом отождествлении рисунка Пушкина как о совершившемся факте.

2.

В связи с изложенным возникает необходимость еще раз тщательно сравнить рисунок Пушкина с портретом Волконского, выполненным Соколовым, поскольку именно с ним главным образом Л. Керцелли сравнивала пушкинское изображение неизвестного генерала. Оба портрета, как уже сказано, опубликованы в «Огоньке», куда и отсылаем интересующихся. Предлагаем расширить базу сравнения и считаем необходимым сравнить рисунок с офортом Ж.-Б. Изабе 1814 года, портретом кисти Доу 1822 года, акварельными портретами, сделанными декабристом Н. А. Бестужевым в 1835, 37 и 40 годах, на которых изображен Волконский в разные периоды своей яркой жизни.

Лоб генерала на рисунке Пушкина высокий, прямой, затылок нет. На портрете Волконского, выполненном Соколовым, лоб ниже, более выпуклый в двух верхних третях своих, с большими, бросающимися в глаза затылками. Такой же лоб, несколько выпуклый в верхней части, нетрудно ви-



П. Соколов. Портрет С. Г. Волконского 1816 г. (?)



А. Пушкин. Портрет С. Г. Волконского 1832 г.



Портрет С. Г. Волконского и рисунок А. С. Пушкина.



М. С. Воронков. Портрет, приложенный к книге М. П. Щербинина. 1848—1850 гг.

деть на портретах Волконского, выполненных Доу, на офорте Изабе, на всех без исключения рисованных Бестужевым в Сибири.

Правда, на офорте Изабе залысины не видно, поскольку Волконскому всего двадцать шесть лет. Но на портрете Доу они угадываются, несмотря на то, что волосы зачесаны не вверх, как на всех известных изображениях декабриста, но наоборот —

начесаны на лоб и виски. Не для того ли, чтобы скрыть наметившиеся залысины?

Далее в публикации утверждается, что на портретах Волконского и рисунке Пушкина один и тот же крупный «породистый» нос с горбинкой. Именно эта горбинка не дает оснований говорить о том, что нос один и тот же. И вот почему. На портретах, названных в публикации, сверх того на портретах Бестужева горбинки не имеет нос Волконского. Офорт Изабе придется исключить из рассмотрений, поскольку на нем линия носа Волконского попросту спрямлена, отчего декабрист приобрел не характерные черты слащавой красоты.

На остальных портретах прекрасно видна линия носа, отнюдь не совпадающая с линией носа портрета, нарисованного Пушкиным.

Следовательно, нет никаких оснований говорить о том, что нос на рисунке пушкинского генерала тот же самый, что и на портретах Волконского, выполненных Соколовым, Доу, Бестужевым, на фотографии 50-х годов, на которой он сильно деформирован старостью.

Еще более очевидна разница подбородков. На портретах Волконского, выполненных Соколовым, Доу, Бестужевым, подбородок его как бы отодвинут назад, отчего нижняя часть лица как бы скошена вниз и назад, к шее. Губы выступают, нависают над подбородком.

Совсем иначе выглядит нижняя часть лица генерала на рисунке Пушкина: крупный подбородок выступает вперед, этот выдающийся подбородок уравнивает большой нос, придает лицу неповторимую красоту сильного, деятельного, непреклонного характера.

Таким образом, сравнение деталей лица на портретах декабриста и неизвестного генерала, рисованного Пушкиным, которое



проделано в публикации журнала «Огонек», дает прямо противоположный результат: на рисунке Пушкина — не Волконский.

Итак, тщательное сравнение рисунка Пушкина и портретов декабриста Волконского, выполненных разными мастерами, не дает ни одной детали, которая бы говорила о сходстве пушкинского рисунка с портретами Волконского. Хотя на всех портретах при всей несхожести художественного восприятия модели, манер письма, Волконский — это Волконский, ничего общего не имеющий с генералом, которого изобразил поэт.

Это разные люди.

## 3.

Теперь приступим к решению второй стороны вопроса — попытаемся установить, кого все-таки нарисовал Пушкин.

Вернемся снова к листу с незаконченным стихотворением, планом романа о Дубровском, какими-то расчетами и рисунком неизвестного генерала (лист ПД 184/1, и. № 603). Вот это незаконченное стихотворение:

Желал я душу освежить,  
Бывалой жизнью пожить  
В забвеньи сладком близ друзей  
Минувшей юности моей.

Я ехал в дальние края;  
(не шумных . . . жаждал я),  
Искал не злата, не честей  
В пыли средь копей и мечей.

Может быть, оно и относится к декабристу Волконскому, может быть, Пушкин действительно вспомнил его. Но мы уже показали, что неизвестный генерал и Волконский — люди совершенно различные. Поэтому стихотворение не может нас отсылать к рисунку, рисунку не может быть привязан к стихотворению — для этого нет оснований.

Рисунок Пушкина связан с планом романа о Дубровском. Попробуем доказать это.

В плане романа о Дубровском на листе 184 обращает на себя внимание одна особенность: из всех действующих лиц по именам названы только Марья Кирилловна (так у Пушкина — С.) и князь Верейский. О последнем Пушкин в своем плане ничего не сказал, кроме того, что паносит он визит. Впервые это лицо появляется перед читателем в тринадцатой главе.

Известно, что в своих прозаических произведениях Пушкин часто шел от жизни. Его герои имели конкретных прототипов или отдельные черты конкретных людей.

Яркий пример тому — роман о Дубровском. В основу его положена действительная история, имевшая место в жизни помещика Островского, которую рассказал поэту П. В. Нащокин. Она глубоко взволновала Пушкина своею социальной несправедливостью. Возмущение его было так велико, что он почти полностью привел в романе образец вопиющего судейского крючкотворства и произвола — подлинное

дело Козмовского уездного суда от октября 1832 года, то есть самый свежий обличительный фактический материал под названием «О неправильном владении поручиком Иваном Яковлевым сыном Муратовым именем, принадлежащим гвардии подполковнику Семену Петрову сыну Крюкову...», на основании которого именно было отобрано у хозяина и передано подполковнику, не имевшему на него никаких прав.

Прообразы героев романа реально существовали в жизни. Кирилла Петрович Троекуров (так у Пушкина) был широко известен под именем генерала екатерининских времен, Льва Дмитриевича Измайлова — богатейшего рязанского и тульского помещика, хлебосола и самодура, яростного крепостника, отчаянного любителя псовой охоты и собак. Была у Измайлова и непокорная дочь, которая переписывалась с любимым под покровительством заботливой нянюшки через четырнадцатилетнего мальчика. Словом, сюжетная линия, имевшая место в жизни, нашла свое яркое воплощение в романе.

В ходе работы Пушкин узнал, что в 1737 году бунтовали крестьяне псковского помещика Дубровского. И заменил в романе фамилию главного героя Островского на Дубровского. Даже именно Дубровского в романе Кистеневка — это собственное имя Пушкина в Сергачинском уезде Нижегородской губернии, неподалеку от Болдино.

В силу изложенного мы вправе искать прототип князя Верейского — одного из самых отталкивающих действующих лиц романа — среди реальных людей, современников Пушкина, хорошо ему знакомых.

Пушкин не дает полного и точного описания внешности князя. Более того, у Верейского нет имени, отчества, неизвестно, служил ли он, на какой ступеньке иерархии находится. Пушкин только сообщает, что князь долго был за границей и вернулся наконец в родное имение, в «деревню, которой отродясь не видал... Князю было около пятидесяти лет, но он казался гораздо старше. Излишества всякого рода изнурили его здоровье и положили на нем свою неизгладимую печать. Несмотря на то, наружность его была приятна, замечательна, а привычка быть всегда в обществе придавала ему некоторую лобезность, особенно с женщинами. Кирилла Петрович... стал угощать его смотром своих заведений и повел на псарный двор. Но князь чуть не задохся в собачьей атмосфере, и спешил выйти вои, зажимая нос платком, опрысканным духами. Старинный сад с его стриженными липами, четверугольным прудом и правильными аллеями ему не понравился; он любил английские сады и так называемую природу, но хвалил и восхищался...» (А. С. Пушкин. В 6-ти т. АН СССР, 1936, т. 4, с. 174).

Так появился Верейский в тринадцатой главе романа. Через два дня после описанного визита князя к Троекурову последний вместе с дочерью Машенькой нанес ответный визит. Пушкин противопоставляет именно Троекурову именно князя: в Арбатове, в отличие от троекуровского



Покровского, избы крестьян чистые и веселые, а господский дом выстроен во вкусе английских замков. И подчеркивает не характерную для русской помещичьей жизни деталь: перед господским домом расстился густо-зеленый луг, на котором «паслись швейцарские коровы, звеня своими колокольчиками». И еще одна деталь, противоречащая российскому дворянскому быту: просторный парк окружал, закрывал дом со всех сторон. Русский помещичий дом стоял обычно на естественном или искусственном возвышении, открытый взору со всех сторон.

Так отдельными штрихами создает Пушкин отталкивающий образ чужестранца в родном отечестве, человека ненавистного Машеньке и самому автору романа.

В окружающей Пушкина действительности прототип литературного героя был именно таким. Это граф Воронцов — генерал от инфантерии, то есть полный генерал, генерал-адъютант, то есть состоящий в свите императора, генерал-губернатор, то есть военный руководитель так называемого Новороссийского края — причерноморских областей России, наместник Бессарабии, прямой начальник Пушкина, муж Елизаветы Ксавьерьевны — предмета долгой и страстной любви поэта.

Ни один из русских генералов, кроме Михаила Семеновича Воронцова, не имел английского воспитания, английских симпатий, не вел своего собственного помещичьего хозяйства на заграничный манер, не относился так высокомерно и презрительно к некоторым сторонам русской жизни, быта, как он. Поэтому и Верейскому непонятны собаки в столь огромном количестве, как у Треюкурова, чужд сад с правильными аллеями и стриженными липами, чуждо расположение господского дома, открытое со всех сторон.

Отношение князя Верейского к людям такое же, как у графа Воронцова — холодно-равнодушное. Его совершенно не трогает, что Машенька не любит его, что более того — любит совсем другого.

Все эти отталкивающие черты характера, которыми Пушкин наделил князя Верейского, взяты от Воронцова, на которого Пушкин был смертельно обижен и всю жизнь свою ненавидел и презирал его. Ненависть и презрение усиливались любовью к Елизавете Ксавьерьевне и ревностью к мужу-сопернику. Эти чувства не утихали с годами. А редкие встречи усиливали их. Как убедительно показала Т. Г. Цявловская (см. ее большое исследование «Храни меня, мой талисман...» в историко-биографическом альманахе «Прометей» серии «Жизнь замечательных людей», т. 10, М., 1974, стр. 12—77), Пушкин и после Одессы встречался с Елизаветой Ксавьерьевной: тайно в 1827 году в Петербурге и там же в 1832 году на людях, на каком-нибудь светском балу или приеме в присутствии Воронцова и своей жены. Эта встреча состоялась в первой половине августа, то есть за два месяца до начала работы Пушкина над романом о Дубровском.

Поэтому нет ничего удивительного или нелогичного в том, что портрет именно Воронцова нарисовал Пушкин, обдумывая

план своего произведения: образ отрицательного героя появился сразу вместе с фамилией Верейский, которую поэт больше не менял, что случалось довольно часто в его работе.

Итак, из самого текста романа явствует, что прототип князя Верейского — граф Воронцов (князем он станет гораздо позже). Это лишний раз подтверждает необыкновенную точность наблюдения Цявловской: у Пушкина «рисунок, как всегда, предшествует связанному с ним тексту...» (Указ. соч., с. 23).

## 4.

Сравним рисунок Пушкина с четырьмя портретами Воронцова: литографией Г. Г. Гиппиуса 1822 года, рисунком К. Гампельна, ориентировочно первой четверти девятнадцатого века, портретом Т. Лауренса, дата написания которого неизвестна, и портретом безмянным, приложенным к книге М. П. Щербинина «Биография генерал-фельдмаршала князя Михаила Семеновича Воронцова» (Санкт-Петербург, 1858 г.).

Литография представляет собой погрудный портрет Воронцова в генеральском мундире, с аксельбантами свитского генерал-адъютанта, с орденскими крестами и звездами на груди.

На портрете Лауренса Воронцов изображен поколенно. Он в парадном мундире, на правое плечо наброшен плащ. Стоит Воронцов вполоборота влево, но голова резко повернута вправо от зрителя. Видны большой эполет, аксельбанты, кресты, звезды.

На портрете Гампельна Воронцов изображен в своем рабочем кабинете, у письменного стола, заваленного бумагами. Он сидит в простом кресле, одетый в генеральскую шинель с высоким жестким воротником. Он думает о чем-то, сложив руки на коленях. За его спиной мраморный бюст жены — Елизаветы Ксавьерьевны, которую он, несомненно, любил, поскольку не каждый генерал-губернатор осмеливался украшать официальный служебный кабинет бюстом супруги. Его сделал скульптор Фуаятье в 1821 году.

Портрет Воронцова (неизвестного автора), приложенный к книге Щербинина (в дальнейшем — щербининский), изображает графа в глубокой старости периода расцвета его карьеры наместника на Кавказе, командующего отдельным Кавказским корпусом. Он в повседневном генеральском мундире со всеми своими орденами и звездами. Седая голова его повернута вправо от зрителя.

Высокий, прямой, чуть скошенный назад лоб без залысин, типичных для Волконского, бросается в глаза как на литографии Гиппиуса, так и на всех остальных портретах.

И такой же лоб без залысин изобразил Пушкин на своем рисунке.

Глаза Воронцова на трех портретах, кроме щербининского, и рисунке Пушкина одинаковы — небольшие, глубоко посаженные, под слегка вытянутыми, летящими бровями.



На шербининском портрете глаза Воронцова значительно больше. Возможное объяснение этому заключается в том, что смолоду он страдал глазами, имел слабое зрение. И с таким серьезным недостатком Воронцов успешно нес воинскую службу в течение более чем пяти десятков лет.

В периоды особенно сильного ухудшения зрения он лечился на модных российских и зарубежных курортах. Однако с годами болезнь прогрессировала, и в 1847 году в сражении у дагестанского селения Салты Воронцов попросту ослеп. Неизвестно, каким образом его медику удалось вернуть Воронцову возможность видеть. Но эта возможность была далеко недостаточной.

Щербининский портрет выполнен неизвестным автором наверняка с натуры. Можно ориентировочно установить дату его исполнения: время после 1848 года, так как в декабре этого года император Николай наградил Воронцова за очередные победы на Кавказе своим портретом, украшенным алмазами. Эту награду изобразил художник на портрете. Для нас она интересна только тем, что дает возможность назвать 1848—1850 годы временем создания портрета, так как в 1845 году Воронцов был возведен в княжеское достоинство, а в 1848 награжден личным портретом. Вероятно, эти события послужили поводом для создания портрета.

Болезнь глаз как будто объясняет и припухлость под ними, и широкую распахнутость их на шербининском портрете.

Высокая крутая горбина носа, как уже отмечалось, определяет на рисунке Пушкина высоту большого красивого носа.

Все это полностью совпадает на портретах Гиппиуса, Гампельна, Пауренса. И Пушкина.

На всех портретах Воронцова, о которых идет речь, губы его удивительно тонкие, длинные. И сложены в непонятную не то доброжелательную, не то дежурно-вежливую, не то скептическую, а может быть, в язвительную улыбку. Современники тоже воспринимали ее по-разному. Названные выше художники сочли необходимым запечатлеть эту улыбку.

Но точно такие же губы, такую улыбку мы видим и на портрете генерала, нарисованного Пушкиным.

Красивая голова, красивое лицо с необычными, запоминающимися чертами, слегка вытянутое, на котором застыла загадочная, тонкая улыбка — таков генерал-губернатор обширного Новороссийского края на портретах.

Таков он и на рисунке Пушкина.

##### 5.

Приведем другие доказательства того, что на рисунке Пушкина изображен Воронцов.

Л. Керцелли считает пушкинский рисунок портретом Волконского. Но все-таки она сомневается. Еестораживает «грим старика», будто бы наложенный поэтом «на отлично знаемые черты человека довольно еще молодого...», «вернее, человека,

преждевременно состарившегося, перенесшего тяжкие лишения и страдания: несколько искусственными выглядят складки на лице, морщины на лбу и мешки под глазами».

Поэтому она считает, что Пушкин таким способом реконструировал лицо Волконского, чтобы восстановить облик человека, находящегося в Сибири.

Необходимость в реконструкции сама собою отпадает, если иметь в виду, что в 1832 году, когда Пушкин сделал рисунок, Воронцову было ровно пятьдесят лет, на которые он выгядит на пушкинском портрете, отнюдь не ординарной и далеко не спокойной жизни. Военную службу начал он девятнадцатилетним поручиком лейб-гвардии Преображенского полка и находился на ней более пяти десятков лет. В двадцать один год принимал участие в боевых операциях на Кавказе. Участвовал во всех войнах, которые вела Россия в начале прошлого века. В двадцать восемь лет — генерал-майор, в тридцать один год — генерал-лейтенант, в сорок три — полный генерал. В Бородинской битве сводно-гренадерская дивизия стояла первой в линии войск, защищавших одну из Багратионовых флешей. Она первой приняла страшные атаки лучших корпусов Наполеона. Понятно, что дивизия Воронцова сражалась не одна. Но она стояла первой. И на нее накатывались волны атак пехотных корпусов Нея, Даву, Жюно, кавалерийских Нансуги и Монбрена. С шести и до десяти часов утра дивизия Воронцова выдержала пять атак и полегла на поле русской славы. Собрав триста солдат, Воронцов повел их в последнюю контратаку, был тяжело ранен в ногу и таким образом открыл длинный список русских генералов, которые выбыли из строя в тот исторический день.

Вылечившись после ранения, Воронцов принял активное участие в битвах и походах в Европе и Франции, отличился в сражениях за Париж (у Краона), командовал русским оккупационным корпусом во Франции. Потом был генерал-губернатором, воевал на Кавказе, с Турцией.

Естественно предположить, что не одни излишества, как говорит Пушкин о Верейском, но и военные годы, боевые тяготы, проблемы введения в хозяйственный оборот юга России, не считая хронической лихорадки, наложили на лицо Воронцова свою печать.

Пушкин очень точно передал в портрете возраст Воронцова и специфические особенности его внешности как в рисунке, так и в романе, в описании князя Верейского, возраст которого называет без обиняков — пятьдесят лет, то есть столько же, сколько и Воронцову в 1832 году.

Так что ни о каком «гриме старика» не может быть и речи.

Имеются другие свидетельства именно такого лица Воронцова. Их дает сам Пушкин. Во время работы над «Евгением Онегиным» он делает на листах рукописи много рисунков Елизаветы Ксавьеровны, которую страстно любит, с которой поддерживает активную переписку. Среди них есть несколько мужских профилей, определенных Цявловской как портреты Воронцова.



В них поэт еще только нащупывает сходство, но уже намечает высокий лоб, красивый большой нос и характерную горбину его, тонкие губы, а главное — складки под глазами, от носа и губ. А ведь в это время Воронцов моложе чем в 1832 году.

Л. Керцелли смущало отсутствие усов на портрете пушкинского генерала, поскольку она исходила из безоговорочного признания изображенного как Волконского. Но декабрист не всегда носил усы и бакенбарды как вместе, так и порознь, в чем нетрудно убедиться, взглянув на портреты, выполненные Изабе, Соколовым, Доу, Бестужевым.

Наличие усов или бакенбард не может служить решающим доказательством при определении портрета, поскольку это признак не постоянный и подвержен влиянию моды, вкуса, настроения.

Воронцов никогда усов не носил. Некоторое время лицо его украшали «баки», которые хорошо видны на портретах Гиппиуса, Лауренса, шербининском.

Но вполне возможно, что именно в 1832 году Воронцов баков не носил. Пушкин слишком внимательный и наблюдательный художник, чтобы пренебречь деталями, которые характеризуют людей, правящихся или неприятных ему. А Воронцов занимал особое положение в его жизни.

Поэтому нет необходимости объяснять отсутствие усов или бакенбард у пушкинского генерала искусственными построениями.

## 6.

Хотелось бы привлечь внимание к такой мелкой детали, как общая посадка головы. На портрете генерала, рисованного Пушкиным, голова наклонена вперед, и кажется, что глядит он исподлобья. А между воротником мундира и шеей имеется некоторое пространство, позволяющее держать голову прямее и выше, чего, кстати сказать, не видно на портрете Волконского, выполненного Соколовым.

Но Воронцов — профессиональный военный. Для него держать голову высоко — естественная привычка. Тем не менее голова его слегка наклонена и на литографии Гиппиуса, и на живописном портрете Лауренса, и на рисунке Гампельна.

Такой же наклон головы мы видим и на рисунке Пушкина.

Это обстоятельство можно объяснить по-разному. Прежде всего, как все высокие люди, Воронцов имел привычку сутулиться. И непроизвольно опускать голову. Затем слабое, с годами все ухудшающееся зрение вынуждало его пристально вглядываться в предметы, людей, что вынуждало глядеть как бы исподлобья, опускать голову. А может статься, все было гораздо проще и сложнее: у Воронцова было более чем достаточно государственных забот и хлопот. Сверх того, у него было предостаточно хлопот семейных, чтобы голова не только опускалась, но и шла кругом, несмотря на аристократическую выдержку, воинское хладнокровие, провзрешное в битвах века, и безупречное воспитание.

Обращает на себя внимание большое сходство портретов, нарисованных Пушкиным и Гампельном. Психологические же характеристики сильно расходятся: у Гампельна Воронцов самоулюблен, спокоен, тих. У Пушкина он тверд, властен, энергичен.

## 7.

Сравним пушкинский портрет Воронцова и четыре других, с которыми сопоставляли его, с теми словесными портретами, которые оставили современники, знавшие Воронцова близко. «В нем, воспитанном в Англии чуть не до двадцатилетнего возраста, была «вся английская складка, и так же он сквозь зубы говорил» («Горе от ума»), так же был сдержан и безукоризнен во внешних приемах своих, так же горд, холоден и властителен в кругу сослуживцев, как любой из сыновей аристократической Британии... И наружность его поражала истинным барским изяществом... Есть известный портрет его (весьма искусно воспроизведенный гравюрою), писанный знаменитым английским живописцем... граф Воронцов сохранил с ним сходство до поздних лет... Высокий, сухой, замечательно благородные черты, словно отточенные резцом, взгляд необыкновенно спокойный, тонкие, длинные губы с этою вечно игривою на них ласково-коварною улыбкою...» (В. М. Маркевич. Из прожитых дней. ПСС, М., 1912, т. XI, с. 396—398).

Полное совпадение этого живого воспоминания современника с рисунком Пушкина, литографией Гиппиуса, парадным портретом Лауренса, шербининским, почти бытовым Гампельна не вызывает сомнений. Пять разных художников каждый по-своему видят Воронцова. Но видят все-таки одни и те же черты, создают один и тот же образ — благородный и приземленный.

Еще один современник отмечает у Воронцова ровный, спокойный характер, кротость, невозмутимое терпение и внимание, способность терпеливо выслушать любое мнение и возражение подчиненных, внимательно-ласковое обращение со всеми.

Современник подчеркивает улыбку Воронцова, которая не сходила с его лица даже в критические для графа минуты жизни. 14 июля 1845 года на Кавказе в кровопролитном сражении у селения Шауни горы прорвались до ставки Воронцова, и он, оставшись один, пошел «с обнаженной шашкою в руках, с тою же спокойной улыбкой на устах, придававшей столько приятности его лицу, и которая столь памятна всем его приближенным». (М. П. Щербинин. Биография генерал-фельдмаршала князя Михаила Семеновича Воронцова. СПб, 1858, с. 241).

И хотя свидетельства двух современников расходятся в оценке отдельных черт внешности и характера Воронцова, даже загадочной улыбки его, которую оба одинаково характеризуют как постоянную, они рисуют портрет человека внешне красивого, волевого и умного. Деятельный, решительный, привычный к дисциплине и самодисциплине, он умел повелевать собою и людьми, ставить большие задачи и решать



их, умел держать себя в руках в чрезвычайных обстоятельствах, а чрезвычайные обстоятельства — в своих руках. Но перед любовью своей жены к опальному поэту Воронцов оказался бессильным.

Пушкин, порывистый и непосредственный, гордый и самолюбивый, ослеплен неутихающей любовью к Елизавете Ксавьерьевне. Он смертельно обижен на графа за унижительную командировку на борьбу с пресловутой саранчой, вежливым равнодушием его в ответ на сухие приветствия свои при ежедневных встречах в гостиной Боронцовой. Она принимала гостей отдельно от мужа. Самолюбие Пушкина задевала и оскорбляла внешне спокойная неприязнь графа, для которого взаимоотношения жены и поэта перестали быть тайной.

Понятно поэтому, что, приступив к работе над романом о Дубровском, Пушкин положил в основу отрицательного образа князя Верейского некоторые черты внешности и характера Воронцова, каким видел его, и нарисовал портрет графа на листе рукописи с планом произведения.

Может быть, Пушкин и не сразу решился на этот шаг, а только после написания первой части романа — восьми начальных глав. Однако встреча в Петербурге с четою Воронцовых незадолго до начала работы всколыхнула и обострила не угасшие в нем чувства. И вопрос об отрицательном герое был решен. Если, конечно, он был, этот вопрос.

О прочности чувств Пушкина к Воронцовой свидетельствуют два дошедших до нас письма: Воронцовой из Одессы к Пушкину от 26 декабря 1833 года и ответное письмо Пушкина от 5 марта 1834 года. Она, в частности, пишет: «...могу ли я напомнить о наших прежних дружеских отношениях, воспоминание о которых Вы, может быть, еще сохранили... прошу Вас в оправдание моей назойливости и возврата к прошлому принять во внимание, что воспоминание — это богатство старости, и что Ваша старинная знакомая придает большую цену этому богатству» (Цявловская. Указ. соч., с. 72. Там же прекрасный комментарий к письмам).

Красноречив ответ Пушкина: «Осмелюсь ли, графиня, сказать вам (так у Пушкина — с маленькой буквы. — С.) о том мгновении счастья, которое я испытал, получив ваше письмо, при одной мысли, что вы не совсем забыли самого преданного из ваших рабов?» (Указ. соч., стр. 76).

Такое из простой вежливости не пишут.

Воронцова подписала свое письмо к Пушкину «Е. Вибельман», сохранив первые буквы своего имени и фамилии. Цявловская предполагает, что и другие письма к поэту она подписывала так же. Напрашивается аналогия с фамилией Верейского: Пушкин сохранил в ней первую букву фамилии прообраза — Воронцова.

Таким образом, Пушкин использовал конспиративный прием предусмотрительно любящей женщины и сделал его творческим, литературным.

## 8.

В своем непримиримом неприятии Воронцова Пушкин отказывается замечать несомненные достоинства в этом сложном и выдающемся — не побоимся этого слова — человеке, много сделавшем для России.

Чтобы доказать сказанное, не будем ссылаться на свидетельства современников, поскольку они могут быть поставлены под сомнение.

Сошлемся на Большую Советскую Энциклопедию, ныне действующую. И предшествующую ей. В обеих скупая биографическая справка о Воронцове укладывается в три десятка строк. В той и другой почему-то не совсем точно отмечается его участие в войнах, положительно оценивается руководство Новороссийским краем и Бессарабией, в которых он способствовал капиталистическому развитию земледелия, крупной торговли, сельского хозяйства, осуществил ряд мероприятий по развитию промышленности на юге России: умножение хлебных культур, улучшение виноделия, разведение тонкорунных овец, улучшение транспорта.

В энциклопедии отмечается: «Несмотря на то, что Воронцов был царедворцем и карьеристом, ум, образование, известный либерализм выделяли его из рядов царских администраторов. Воронцов был близок к деятелям преддекабристских организаций» (БСЭ. М., 1971, т. 5, с. 369).

«В 1820 году вместе с декабристом Н. И. Тургеневым и др. пытался основать дворянское общество для постепенного освобождения крестьян. Покровительствовал некоторым умеренным декабристам: Н. И. Тургеневу, С. Г. Волконскому» (БСЭ. М., 1951, т. 9, с. 125).

Но мы смотрим на Воронцова сквозь призму бессмертной эпитафии, столь же блестящей, сколь и несправедливой:

Полу-милорд, полу-купец,  
Полу-мудрец, полу-невежда,  
Полу-подлец, но есть надежда,  
Что будет полным, наконец.

## 9.

Вот мы и узнали, кого и почему нарисовал Пушкин на листе № 184. Вот мы и «заглянули» в творческую лабораторию поэта. Увидели, каким неравнодушным он был в жизни и своей прямо-таки каторжной работе, каким жаром сердца согревал все, к чему прикасался, с какой любовью и не любовью относился к людям и героям своих произведений.

Немеркнущие чувства, незатухающие страсти, титанический труд, бесконечная нежность — это великий Пушкин.

Вот что такое портрет Воронцова, нарисованный поэтом на листе с планом романа о Дубровском в августе—сентябре 1832 года.



Иван САБЛИН

## Как жандармы Льва Толстого преждевременно хоронили

Любопытным документом располагает Алтайский краевой государственный архив. Начальник Томского губернского жандармского управления 12 марта 1902 года в донесении с грифом «совершенно секретно» уведомил Бийского уездного исправника о том, что «по полученным департаментом полиции сведениям при обсуждении некоторыми кружками формы демонстративного противоправительственного протеста в случае кончины графа Льва Толстого, между прочим, остановились на мысли устроить в день получения известия о смерти шумные демонстрации в театрах, с требованием в знак траура прекратить представления».

Давая об этом знать, глава Томской жандармерии предлагает бийскому исправнику «принять меры к предупреждению и прекращению демонстраций, если бы они возникли в публичных местах в случае получения известия о смерти Льва Толстого».

Казалось бы, все естественно и логично: граф Толстой не был другим царю и самодержавию. Напротив, своим пером он немало сделал, чтобы расшатать царский трон. Известный в свое время реакционный журналист А. С. Суворин записал в своем дневнике: «Два царя у нас: Николай Второй и Лев Толстой. Кто из них сильнее? Николай Второй ничего не может сделать с Толстым, не может поколебать его трон, тогда как Толстой, несомненно, колеблет трон Николая и его династию. Его проклинают, Синод имеет против него свое определение. Толстой отвечает, ответ расходится в рукописи и в зарубежных газетах. Попробуй кто тронуть Толстого. Весь мир закричит, и наша администрация поджигает хвост».

Да, трудно с этим не согласиться!

Но вернемся к жандармскому документу и обратим внимание на одну деталь — тревогу жандармы забили в марте 1902 года, а великий писатель скончался, как известно, в ноябре 1910 года, то есть почти через 8 лет.

Почему же так поторопились полицейские чины. Известно, что последние годы жизни Толстого были заполнены неустанной литературной и публицистической работой, несмотря на тяжелую болезнь, перенесенную им в 1901—1902 годах. Добавим к этому, что в 1901 году Толстой был отлучен Синодом от церкви и предан анафеме.

Могли ли отразиться эти церковные

акты на здоровье Льва Николаевича? Слово родным и близким Толстого. Софья Андреевна, его жена: Лев Николаевич... «выходил на свою обычную прогулку, когда принесли с почты письма и газеты. Их клали на столик в прихожей. Толстой, разорвав бандероль, в первой же газете прочел о постановлении Синода, отлучившем его от церкви. Надел, прочитав, шапку — пошел на прогулку. Впечатления никакого не было».

Историк русской литературы М. О. Гершензон: «Толстой сказал об этом постановлении (Синода — автор): «Если бы я был младше, мне польстило бы, что против маленького человека принимаются такие грозные меры; а теперь, когда я стар, я только сожалею, что такие люди стоят во главе...»

Сам Лев Николаевич Толстой (запись в дневнике от 19 марта 1901 года): «За это время было странное отлучение от церкви и вызванные им выражения сочувствия...»

Сказано более, чем скромно!

А вот что записала Софья Андреевна Толстая 6 марта 1901 года: «Пережили много событий, не домашних, а общественных. 24 февраля было напечатано во всех газетах отлучение от церкви Льва Николаевича...»

Бумага эта вызвала негодование в обществе, недоумение и недовольство среди народа. Льву Николаевичу три дня подряд делали овации, приносили корзины с живыми цветами, посылали телеграммы, письма, адреса. До сих пор продолжают эти изъявления сочувствия Льву Николаевичу и негодование на Синод и митрополитов... Несколько дней продолжается у нас в доме какое-то праздничное настроение; посетителей с утра до вечера — целые толпы...»

Да, в те февральские дни в тихий Хамовнический переулок Москвы, где жили Толстые, точно устремился людской поток, хлынули пачки писем и телеграмм.

Однако не только цветами и письмами отреагировала Россия на эти события. Прошло чуть более недели со дня отлучения Толстого от церкви, как Россия буквально была потрясена актом насилия самодержавия. 4 марта 1901 года в Петербурге, на площади у Казанского собора, полиция напала на демонстрацию и зверски избивла многих ее участников. Волна протеста прокатилась по всей стране.

Этого не мог не заметить Владимир



Ильич Ленин: «Святейший синод отлучил Толстого от церкви. Тем лучше. Этот подвиг зачтется ему в час народной расправы с чиновниками в рясах, жандармами во Христе, с темными инквизиторами, которые поддерживали... подвиги черносотенной царской шайки».

Антицерковные страницы романа «Воскресенье» взбудоражили святейший Синод во главе с его обер-прокурором Победоносцевым, выведенным в романе под отталкивающей реакционной личностью Топорова.

В ответ церковники стали особенно настойчиво требовать расправы с писателем. И Победоносцев, пользуясь влиянием на царя, добился согласия Николая II на эту расправу.

Но церковники просчитались. Имя Льва Толстого после отлучения от церкви стало еще популярней, и не только в России. А жандармам прибавилось забот и хлопот.

С каким нетерпением ожидали они теперь его смерти! И в то же время постоянно опасались возможности «беспорядков», связанных с его именем. Появились «упреждающие» директивы, не допускающие никаких демонстрационных речей, действий и манифестаций.

Жажда погребения писателя стала настолько нестерпимой, что правительство пошло на циничную по своей сути своеобразную репетицию, програнную в 1901—1902 годах на случай смерти Толстого. Началась она, когда писатель, находясь в Крыму, заболел. Еще в июле 1901 года во все концы России полетела телеграмма министерства внутренних дел о проявлении строжайшей бдительности на случай кончины Толстого.

Заблаговременно было заготовлено секретное письмо министра внутренних дел для Победоносцева. Вот его содержание: «Имею честь сообщить Вашему превосходительству для сведения, что мною сего числа (число, конечно, не проставлено, поскольку Толстой был жив) разрешено Таврическому губернатору выдать свидетельство на перевоз тела графа Толстого из Ялты в Ясную Поляну».

Заготовлены были и такие директивы ряду губернаторов: «Тело графа Толстого перевозится из Ялты в Ясную Поляну. Отправление... (оставлено место для даты). Благоволите принять зависящие меры к воспрепятствованию каких-либо демонстраций по пути... января 1902 года».

Это ли не парадокс — умирающего классика боялись больше, чем живого. Религиозные и черносотенные фанатики грозили ему физической расправой — «Тебя давно ждет виселица», «Смерть на носу», «Покайся, грешник», «Еретиков надо убивать».

Однажды из Москвы от некоей О. А. Марковой он получает посылку с веревкой и письмо за подписью «Русская мать»: «Не утруждая правительство, можете сделать сами, нетрудно. Этим доставите благо нашей Родине и нашей молодежи». Лев Николаевич ответил ей спокойно и даже тепло. Только не дошло его письмо до адресата, так как он оказался вымышленным.

Церковная затея с отлучением неволь-

но напоминает бумеранг. Объявив войну Толстому и убедившись, какие силы за ним стоят, монархисты перепугались. В самом деле, скончайся в это время граф Толстой, народ не постеснялся бы назвать его убийцей. А с народом шутки плохи — в этом русский царизм убеждался не раз.

Как же относился Лев Николаевич к угрозам?

Чаще всего равнодушно. «Получены угрожающие убийством письма, — записал он в дневнике. — Жалко, что есть еще ненавидящие меня люди, но мало интересует и совсем не беспокоит». Однако он понимал, что за этими угрозами реальные силы реакции.

Его биограф 10 августа 1908 года записал слова Толстого: «...возможно, что черносотенцы меня убьют».

И если этого не произошло, то лишь потому, что Толстой принадлежал не только России, а всему человечеству, что удерживало его коронованных врагов и «святых отцов» от физической с ним расправы.

Он был под защитой всего передового человечества.

Его нельзя было вызвать на дуэль и убить, нельзя было сдать в солдаты, отправить в тюрьму или дом умалишенных...

Смерть он недуга, которую так ждали в 1902 году враги Толстого, тоже не состоялась: граф Толстой не только выжил тогда, но и создал в последующие годы бессмертные обличающие произведения: «После бала» (1903 г.), «Хаджи-Мурат» (1904 г.), написал много публицистических работ, не переставая отзываться на все, что волновало русское общество и его нравственное сознание. Несмотря на противоречивость взглядов в период 1905—1907 годов, вот как он писал В. В. Стасову: «Я во всей этой революции состою в звании добро- и самовольно принятого на себя адвоката 100-миллионного земледельческого народа. Всею, что содействует или может содействовать его благу, я сораднуюсь. Всею тому, что не имеет этой главной цели и отвлекает от нее, я не сочувствую». И «земледельческий народ», как бы отвечая на его заступничество, так объяснял отлучение писателя от церкви: «Это все за нас; он за нас стоит и заступается, а попы и взъелись на него».

В другом письме музыкальному критику Толстой высказывался еще более откровенно: «События совершаются с необыкновенной быстротой и правильностью. Быть недовольным тем, что творится, все равно что быть недовольным осенью и зимой, не думая о той весне, к которой они нас приближают».

Толстой верил, что русская революция «будет иметь для человечества более значительные и благотворные последствия, чем Великая французская революция».

Вот почему жестокая реакция, наступившая после подавления революции 1905 года, обострила его душевные страдания. В 1908 году он пишет статью «Не могу молчать!» — гневный протест против смертных казней царизма, когда петлю — символ самодержавия — стали называть «столыпинским галстуком». В это время классику было 80 лет.



Но вернемся к 1902 году. Полицейский сыск оставил еще один след в биографии Толстого. 13 октября господам полицмейстерам и уездным исправникам (в том числе бийскому) Томское управление заслало другое уведомление, где министр внутренних дел «признал необходимым воспретить к обращению в публичных библиотеках и общественных читальнях, к продаже на улицах, площадях и других публичных местах, а равно через ходящих и офеней, отпечатанную без предварительной цензуры книгу под заглавием «Граф Лев Толстой», «Дорого стоит» и другие произведения, изданные в Москве в 1902 году типографией А. П. Поплавского».

Что же снова насторожило полицейских?

Оказывается, в рассказе «Дорого стоит» они не могли не усмотреть едкой сатиры на самодержцев, министров, судебно-чиновничий аппарат, хотя действие происходит в некоем карликовом царстве Монако на Средиземном море между Францией и Италией, где есть свой царек, и дворец, и придворные, и министры, и архиереи, и генерал, и войско... из 60 солдат. Как и везде, есть здесь налог на вино и на табак, есть и подушные.

Но народу в царстве меньше, чем в большой деревне, и не смог бы царек прокормить сам себя и придворных, если бы не особый доход — игра в рулетку.

Лет пять назад случилось в царстве этом смертоубийство, чего раньше никогда не было. Собрались судьи и прокуроры, присяжные и адвокаты. Присудили отрубить преступнику голову, а в царстве ни гильотины, ни палача. Обратились к французскому правительству, а оно запросило за машину, мастера и расходы на дорогу 16 тысяч франков. Царек подумал: «Не стоит негодяй этих денег».

Обратились к итальянскому королю. Авось король свой брат — меньше возьмет, чем французская республика. Король с удовольствием согласился и запросил 12 тысяч франков. Опять дорого. Решили заставить своих солдат, те, мол, все равно на войне убивают. «Нет, — говорят солдаты, — мы этого не умеем и не учились». Думали-думали и постановили заменить смертную казнь тюрьмой вечной. Посадили молодца, приставили сторожа.

Стал царек в конце года сверять доходы и расходы на тюрьму и на сторожа и ужаснулся: расход велик — 600 франков. А малый молодцом — еще лет 50 проживет. Что делать?

Решили выдворить его из тюрьмы — убрали сторожа, а молодец не уходит. За пищей на кухню ходит, а уходить не уходит. Как быть?

Собрали снова совет и надумали — надо ему пенсией назначить. И назначили — 600 франков.

И далее заключительная, характерная для Толстого, фраза, не оставляющая сомнений, что речь идет о самодержавной России: «Хорошо, что грех случился с ним (преступником — автор) не там, где не жалеют расходов ни на то, чтобы отрубить голову человеку, ни на вечные тюрьмы».

Не случайно же царскую Россию называли тюрьмой народов.

Это ли был не повод для изъятия толстовской крамолы! Впрочем, изъятие в России его произведений — это целая область исследований, в том числе на далеком Алтае.

Полицейско-жандармский аппарат и царская цензура решили изолировать Толстого от общества. Тщательно наблюдали за каждым его шагом.

Министерство внутренних дел издало циркулярное запрещение печатать телеграммы, известия и статьи о сочувствии Толстому и осуждении действий Синода.

Великого мыслителя пытались этим поставить на колени, заставить отречься от всего написанного в обличение самодержавия и церкви, вынудить примириться с церковниками, покаяться. Но результат был противоположным.

15 февраля 1902 года Софья Андреевна получила от митрополита Антония письмо с увещанием Льва Николаевича вернуться в лоно церкви, примириться с ней, умереть христианином. По поводу письма Толстой сказал: «О примирении речи быть не может. Я умираю без всякой вражды или зла, а что такое церковь? Какое может быть примирение с таким неопределенным предметом?»

Популярность Толстого еще более росла. Внимание читательских масс еще сильнее приковано ко всему, что вышло или вновь вышло из-под его пера. Юрисконсулт кабинета его величества Н. А. Лебедев писал: «...Может быть, десятки тысяч читали запрещенные произведения Толстого в России, а теперь будут читать сотни тысяч. Прежде не понимали его лжеучений, а Синод их подчеркнул. По смерти похоронят Толстого, как мученика за идею, с особой помпой. На могилу его будут ходить на поклонение...»

К голосу его миллионы людей во всем мире стали прислушиваться особенно чутко. Чехов, Горький, Короленко, литераторы Америки, других стран подали голос солидарности с Толстым.

Среди бесчисленных откликов приветствия от рабочих города Коврова, Прохоровской мануфактуры, группы политических ссыльных из Архангельска, испанских журналистов.

Рабочие Мальцевского завода прислали Толстому глыбу зеленого стекла с надписью: «Вы разделили участь многих великих людей, идущих впереди своего века... Русские люди всегда будут гордиться, считая Вас своим великим, дорогим, любимым».

На сочувственные телеграммы и письма Толстой направил в газеты следующий ответ-благодарность, в котором не удержался от соблазна еще раз посмеяться над постановлением Синода, столь способствовавшим росту его популярности:

«Господин редактор!

Не имея возможности лично поблагодарить всех тех лиц, от сановников до простых рабочих, выразивших мне как лично, так и по почте и по телеграфу свое сочувствие по поводу постановления свя-

тейшего Синода от 20—22 февраля 1901 года, покорнейше прошу Вашу уважаемую газету поблагодарить всех этих лиц, причем сочувствие, высказанное мне, я приписываю не столько значению своей деятельности, сколько остроумию и благовременности постановления святейшего Синода.

Лев Толстой».

Как видим, Лев Николаевич не оставался в долгу перед самодержавием и церковью и в самом преклонном возрасте.

И ему за это адресовали высокие, достойные борца и гения, слова: «Да живите и бодрствуйте на благо человечества! Не проглотит и не удавит Вас ни тюрьма наша, ни виселица: насколько Вы велики, настолько они ничтожны для этого. Недосыгаемо для них выросли Вы».

«Лев Толстой не ушел от мира, а ушел в мир», — скажет русский писатель Скиталец.

И все же истинная смерть Толстого печальной болью прошла по стране. 4 ноября 1910 года газета «Утро России» писала: «Чем оправдаемся мы в нашем новом преступлении. Сгубили Пушкина и Лермонтова, лишили рассудка Гоголя, сгноили в каторге Достоевского, выгнали на чужую сторону Тургенева, свалили, наконец, на деревянную лавку захолустной станции 82-летнего Толстого!.. Наша жизнь — какое-то сплошное нисхождение в бездон-

ную, тусклую яму, на дне коей поджидает нас небытие, духовная смерть».

Только иное увидел в этой всенародной скорби Владимир Ильич Ленин. «Смерть Толстого, — писал он, — вызывает — впервые после долгого перерыва — уличные демонстрации с участием преимущественно студенчества, но отчасти также и рабочих».

В споре с мракобесами Лев Толстой победил. Принадлежа по рождению и воспитанию к высшей помещичьей знати, он постепенно пришел к сознанию паразитизма своего класса, к тому, что Ленин впоследствии назовет «Лев Толстой как зеркало русской революции».

«...Толстой, — писал Владимир Ильич, — поразительно рельефно воплотил в своих произведениях — и как художник, и как мыслитель и проповедник — черты исторического своеобразия всей русской революции, ее силу и ее слабость».

Документы — память человечества.

Документы, с которых мы начали наш рассказ, снова легли на архивную полку. Но они уже не молчат! Они сейчас поведали нам, что за сухой строкой полицейского циркуляра происходила непримиримая борьба, которая в конце концов смела самодержавный строй и установила нерукотворный памятник одному из величайших его борцов.



Л. КУЗНЕЦОВА

## 158-й получает имя

Как получают свои имена метеориты? По установившемуся обычаю, по названию ближайшего к месту его падения населенного пункта. Окрестить камень не составляет, таким образом, особого труда. Однако бывают случаи, когда сделать это не так-то просто. Об одном таком случае мы и хотим рассказать.

В начале 1980 года в Комитет по метеоритам Академии наук СССР приехал красноярский ученый В. Е. Чеботарев. Он привез с собой маленький (чуть более двух граммов) осколок горной породы, попросил проверить — не метеоритное ли это вещество.

Сотрудники Комитета произвели исследование и определили, что образец имеет неземное происхождение, отколот от метеорита. Но где находится весь небесный камень? Как сообщил Чеботарев, в краеведческом музее города Абакана.

Из Комитета был послан запрос в Абаканский музей. Вскоре оттуда пришел ответ: «Сведений о метеорите в музее нет, среди экспонатов не значится».

Каждый метеорит представляет большой интерес для науки, несет ценную информацию о космосе. Но чтобы детально исследовать небесное тело, дать ему имя, внести в советские и зарубежные каталоги, необходимо было прежде всего его разыскать, установить время и место падения или находки.

За это взялись два сотрудника Комитета. В поисковую группу вошли кандидат физико-математических наук А. А. Явнель и научный сотрудник Р. Л. Хотинюк.

Явнель — специалист по космохимии, науке совершенно новой, изучающей химический состав небесных тел. А «выслеживать» гостей из космоса, распутывать их «дела» — это его хобби, в котором он тоже достаточно преуспел. Профессия Хотинюка — розыск метеоритов. Откуда, из какой точки нашей страны ни поступил бы сигнал о падении небесного камня, он немедленно выезжает к месту происшествия. На счету ученого уже более десятка космических странников, которые он обнаружил и доставил в Москву.

Ученые прежде всего направили письмо в Красноярск Чеботареву, попросили его уточнить, где находится метеорит.

Чеботарев ответил, что небесный камень действительно хранится в краеведческом музее, но, как оказалось, не в Абаканском, а в Ачинском. Двухграммовый кусочек был привезен оттуда в Красноярск студенткой Верой Чащиной совсем недавно — в 1979 году. Чащина встретилась

в Ачинске с директором музея Л. В. Алексеевой, которая рассказала, что камень найден на окраине города. Нашел его один из сотрудников еще в 1949 году.

Комитет обратился по поводу метеорита в Ачинский краеведческий музей и в Красноярский крайисполком, а также в Министерство культуры РСФСР.

Пока велась переписка, Явнель и Хотинюк продолжали сбор сведений об Ачинском камне: запрашивали красноярских ученых, связались с местными старожилами, просматривали сибирские газеты.

Летом 1980 года в газете «За науку в Сибири» Хотинюк наткнулся на заметку красноярского геолога И. М. Петрова. Заметка была короткой. В ней говорилось только, что в Ачинском краеведческом музее хранится метеорит под названием Переславка, от которого был отколот и переслан в Москву образец.

О метеорите в Ачинском музее московские ученые уже знали. Но почему же Переславка? Откуда появилось это название? Ведь камень был найден в Ачинске?

Вскоре Хотинюк встретился с автором заметки Петровым. Геолог рассказал, что уже давно интересуется Ачинским камнем, собирает о нем материалы. По его заданию ездила за образцом и студентка Чащина.

Сам Петров впервые услышал о редком экспонате в конце 70-х годов. Сведения дошли до него как бы по цепочке: сибирские ученые передавали их друг другу. Петрову сообщил о метеорите доцент Красноярского пединститута И. В. Антонов. Антонову поведал об этом еще в начале 60-х годов директор Кемеровского планетария Е. М. Долгих. Долгих же узнал о госте из космоса от сотрудника Ачинского музея Г. А. Авраменко.

А откуда взялся метеорит Переславка? Ответ на этот вопрос помогла найти многотиражка Красноярского университета. Корреспондент газеты взял интервью у доцента Антонова, который сообщил, что, как сказал ему когда-то Долгих, Ачинский камень был найден в деревне Преображенке на реке Карасук.

Это интервью напечатано раньше заметки Петрова. По-видимому, ознакомившись с ним, геолог решил назвать метеорит Преображенка, но ошибся и окрестил его Переславкой.

Да, с Ачинским метеоритом нелегко оказалось разобраться. Ведь сколько вокруг него было напутано, сколько имелось ошибочных утверждений, названий...

В начале 1981 года сообщение о си-



бирской находке появилось в газете «Известия». Корреспондент газеты побывал в Ачинском музее, побеседовал с Алексеевой. Директор показала ему метеорит, как писал журналист, «совершенно неприметный, невзрачный» и рассказала, что он был найден еще давно одним из сотрудников на окраине города.

Вслед за «Известиями» заметку о госте из космоса поместила на своих страницах газета «Труд». Корреспондент «Труда» тоже посетил Ачинск, тоже рассматривал в местном музее внешне ничем не примечательный камень — метеорит, тоже узнал от Алексеевой, что он был обнаружен более 30 лет назад в окрестностях Ачинска.

Явнелъ тщательно регистрировал всю поступающую информацию. Он составил таблицу «Систематизация данных об Ачинском метеорите». В таблице в каждом отдельном случае указывалось от кого и когда впервые поступила информация о небесном камне, кому она была передана (вся цепочка), в какой газете опубликована, где, согласно этой информации, был найден метеорит.

Данные, собранные в таблице, почти во всех случаях свидетельствовали, что местом находки метеорита является город Ачинск или его окрестности.

Тем временем Министерство культуры РСФСР официально дало распоряжение о передаче метеорита из Ачинского музея в Академию наук для исследований.

Итак, все пути вели в Ачинск. В январе 1981 года Хотинюк вылетел в этот небольшой город на юго-западе Красноярского края.

Уже знакомая нам Алексеева рассказала ученому то же самое, что рассказывала другим. Долгие годы до самой своей смерти в музее работал научный сотрудник Георгий Александрович Авраменко. Он был увлеченным человеком, любил свое дело, всячески способствовал пополнению музейных экспозиций. С особым же рвением собирал коллекцию минералов — колесил чуть ли не по всей Сибири в поисках интересных экземпляров. В 1949 году Авраменко во время очередной своей экскурсии нашел на окраине Ачинска камень, который посчитал за метеорит.

Так появился в музее новый экспонат. Однако специалистов-метеоритологов в городе не было, никто не мог проверить высказанное Авраменко предположение, исследовать камень, никто не дал знать о нем в Комитет по метеоритам. Более 30 лет пролежал осколок в музее, и все это время оставался неизвестным ученым. Только в 1979 году от него был отколот маленький кусочек, доставленный затем в Москву. О том, как это произошло, какое участие приняли в этом красноярцы Антонов, Петров, Чашина, Чеботарев, читатель уже знает.

Алексеева показала Хотинюку сам метеорит — корявый, серо-коричневого цвета, небольшой, размером с гусиное яйцо, — и передала его для исследований.

В 1981 году космический странник прибыл в Москву, попал наконец к специалистам. Он стал 158-м небесным камнем, найденным на территории нашей

страны почти за два столетия (с тех пор, как ведется сбор и изучение отечественных метеоритов).

158-й, как и все его собратья, был подвергнут всестороннему исследованию. Он оказался каменным метеоритом. В метеоритном шляфе под микроскопом хорошо просматривались свойственные только некоторым небесным камням и не встречающиеся в земных горных породах округлые образования — хондры. Образец относился к наиболее распространенному среди каменных метеоритов типу хондритов. Вес его составлял 414 граммов.

Теперь, когда стали известны «канкетные данные» камня, можно было сообщить о нем всем ученым мира, «зарегистрировать» его, внести в каталоги.

Итак, имя-название — Ачинск. Но Явнелъ не торопился записывать камень под этим именем. А достаточно ли имеется оснований для такого названия? Верно ли, что осколок был найден в Ачинске? Эти вопросы не давали ученому покоя. Что-то настораживало, что-то вселяло сомнения. Что же именно?

Прежде всего внешний вид камня. Чем был он примечателен? А вот то-то и оно, что ничем.

Каковы вообще отличительные особенности внешнего вида метеоритов?

Первая особенность — кора плавления. Когда приближающийся к Земле метеорит теряет космическую скорость, его нагревание прекращается, а расплавленный поверхностный слой мгновенно охлаждается и затвердевает, образуя очень тонкую, чаще всего темную кору плавления, которая, как скорлупа, обволакивает камень.

Вторая характерная особенность небесных странников — неправильная многогранная форма. Такую форму камни приобретают при раскалывании космических глыб во время их стремительного бега через атмосферу. Только углы и ребра у них обычно сглажены, обточены воздухом.

Третья черта метеоритного портрета — ямки, вмятины на поверхности, точно кто-то с силой сжимал камень железной пятерней и оставил на нем свои следы. Эти ямки, называемые регмаглиптами, результат обработки, которую проходит небесное тело во время полета через атмосферу. При этом воздух срывает с раскаленного тела частицы вещества, воздушные струи, как сверла, сверлят его...

Но все эти хорошо известные в науке признаки у образца из Ачинска выражены были слабее. Он не блистал космической внешностью, выглядел скромно, по-земному. Кора частично слущилась, там же, где сохранилась, окислилась, казалась цветом самого камня. Нерельефные, неглубокие регмаглипты напоминали обычные выбоины. Правда, форму камень имел многогранную, попросту говоря, был бесформенным. Но мало ли таких на земле. Нетренированному глазу трудно разглядеть эти особенности Ачинского метеорита.

«Положи такой на речной косе, никто и не нагнется за ним», — писал о камне корреспондент «Известий». Верно, не нагнется. Обычно подобные метеориты поднимают, когда наблюдается их падение.



«Как же Авраменко мог обратить внимание на этот невзрачный образец?» — думал Явнель.

Смущало ученого и другое. Он изучал свою таблицу и убеждался: люди, утверждавшие, что камень обнаружен в окрестностях Ачинска, все, как один, ссылались на Алексею. Между тем, Алексея была, можно сказать, лицом заинтересованным. Хотя метеорит находился в запаснике, директор знала, что это редкий экспонат, хотела, чтобы он остался здесь навечно. Поэтому слишком частое повторение Алексеевой одного и того же («Найден у нас. Должен называться Ачинск») вызывало подозрения: а не выдает ли директор желаемое за действительное?

И еще одно обстоятельство заставляло Явнеля не спешить с регистрацией камня. Читатель, наверное, помнит: доцент Антонов говорил, что метеорит найден в деревне Преображенке на реке Карасук.

Правда, об этом говорилось в показаниях только одного свидетеля, в таблице в графе «Место находки» деревня Преображенка называлась лишь один раз. И все же называлась.

Значит, существовала еще одна версия. Но каждая версия должна быть тщательно проверена, отработана. Без этого расследование не может считаться завершенным.

Перед Явнелем лежала карта Сибири. Вот и река Карасук. Она протекает на юге Новосибирской области. Река небольшая, на ее берегах четыре района — Карасукский, Краснозерский, Кочковский и Чулымский.

В райисполкомы всех четырех районов из Комитета были направлены письма с вопросами: имеется ли на их территории деревня Преображенка? Произошло ли там в конце сороковых годов падение небесного камня — метеорита?

Сельские жители относятся к науке с особым уважением, почитательно. Выполняя просьбу ученых, работники райисполкомов побывали во многих деревнях, опросили местных жителей. Одно за другим пришли в Комитет три письма-ответа — из Карасукского, Краснозерского и Кочковского районов. Во всех трех говорилось, что «деревни Преображенки в районе нет, о падении метеорита в сороковых годах никто из жителей не слышал».

Так, может быть, событие произошло в Чулымском районе? Ответ оттуда немножко задержался. Но вот пришел и он. Из Чулыма сообщали, что в районе имеется поселок Преображенка, но лежит он не на Карасуке, а на Чулыме, к тому же «о метеорите здесь ничего неизвестно».

Поиски на реке Карасук не дали результатов. Но Явнель не собирался закрывать «дело». Где-то же она была, эта деревня Преображенка. А если не было такой, то откуда взял ее Антонов? Это тоже требовалось проверить и установить.

Ученый снова и снова изучал «показания», данные Антоновым. Доцент ссылался на свою беседу с директором Кемеровского планетария Е. М. Долгих. Но с тех пор прошло 20 лет. Где сейчас Долгих? Живет

ли в Кемерово? Работает ли в планетарии? Помнит ли о метеорите?

Хотинок позвонил в Кемеровский планетарий, хотел навести справки о Долгих. Наводить справки, однако, не потребовалось. К телефону подошел сам Евгений Михайлович. Он по-прежнему жил в Кемерово, работал в планетарии. На вопрос — помнит ли об Ачинском метеорите — ответил:

— Помню, помню.

Директор планетария подтвердил: да, он рассказывал о небесном камне доценту Антонову. Сам же услышал о госте из космоса от сотрудника Ачинского музея Авраменко.

Это произошло в 1962 году. Долгих, приехав по служебным делам в Ачинск, зашел в местный краеведческий музей. Здесь он встретился с научным сотрудником Авраменко, который показал ему небесный камень и поведал его историю.

Долгих прислал в Комитет сохранившуюся у него заметку из ачинской городской газеты «Ленинский путь» от 6 марта 1962 года. Эта короткая заметка, написанная, по всей видимости, со слов Авраменко, первое и единственное достоверное свидетельство о находке метеорита. Поскольку для нашей истории она является документом весьма важным, приводим ее здесь:

«Много интересных находок имеется в Ачинском краеведческом музее. Одну из них, метеорит, найденный в 1949 году на Алтае у деревни Преображенка и доставленный кем-то из местных жителей в наш город, удалось недавно обнаружить в архивах музея научному сотруднику Георгию Александровичу Авраменко.

В январе с лекциями о космосе в Ачинск приехал директор Кемеровского планетария Е. М. Долгих. Он посетил музей и высоко оценил редкостную находку краеведа...»

Рядом с заметкой был помещен фотоснимок: Авраменко и Долгих рассматривают метеорит.

Эта заметка многое прояснила.

Теперь по просьбе Явнеля директор планетария постарался восстановить в памяти все, что касалось метеорита, просмотрел все свои старые записные книжки и в письме сообщил ряд важных подробностей.

Вслед за газетной заметкой Долгих утверждал, что деревня Преображенка находится на Алтае. Он помнил — Авраменко показывал ему Преображенку на карте Алтайского края, именно Алтайского края, а не Новосибирской области. О реке Карасук Долгих вспомнить не мог («Моя память не сохранила таких подробностей»), но полагал, что Авраменко упоминал о ней. Иначе откуда узнал бы о реке доцент Антонов. Ведь всю информацию он получил от Долгих, причем сведения, касавшиеся метеорита, слушал очень внимательно.

Итак, деревню Преображенку следовало искать не в Новосибирской области, а в Алтайском крае.

Называйся деревня по-другому, будь у нее редкое имя, ее легче было бы разыскать. А то Преображенка! Данное в честь



одного из христианских праздников, это название и в наши дни еще часто встречается в России. В частности, на просторах Сибири разбросано немало Преображенок.

И Явнель решил пойти по другому пути.

В газетной заметке говорится, что небесный камень из деревни Преображенка доставил в музей кто-то из местных жителей. В своих бумагах Долгих разыскал имя и фамилию этого человека — Вотинов Павел Васильевич, учитель. «Откуда я взял эти сведения, сейчас не могу вспомнить, — писал астроном. — И не ручаюсь за их достоверность».

Фамилия Вотинов действительно звучит не совсем обычно. За долгие годы чернила выцвели, стерлись. Поэтому вполне возможно, что Долгих неправильно прочитал фамилию — спугал букву или даже две.

И все же у Явнеля появилась новая ниточка, новое действующее лицо — учитель Вотинов. А не попытаться ли разыскать сначала учителя?

Из Комитета был послан запрос в Центральное адресное бюро Алтайского края: спрашивали о Вотинове, проживающем предположительно в деревне Преображенке. Справка из адресного бюро подшита к «делу» метеорита. Она гласит: «По данным адресного бюро УВД Алтайского края, Вотинов Павел Васильевич прописанным в Алтайском крае не значится».

Но сотрудники адресного бюро этим не ограничились. На обратной стороне справочного бланка чья-то заботливая рука написала: «По административно-территориальному делению Алтайского края деревня Преображенка есть в Баевском и Хабаровском районах. Напишите туда, возможно, кто-нибудь помнит Вотинова или его родственников».

Явнель развернул карту Сибири. В последнее время он, точно завязтый путешественник, не расставался с ней. Вот он Баевский район, а вот, рядом, и Хабаровский. Оба на северо-западе Алтайского края.

Ученый вспомнил детскую игру. Ребята прячут какой-нибудь предмет, а один из играющих его ищет. Пока он далеко от спрятанного предмета, ему говорят: «Холодно, холодно», когда приближается — «Теплее, теплее», когда же заветный предмет уже совсем близко, кричат: «Жарко!»

У Явнеля имелись теперь сведения о двух Преображенках. Обе находились в Алтайском крае. Так не в одной ли из них найден метеорит, не ее ли показывал Абраменко на карте гостю из Кемерово — Долгих? Кажется, становится теплее, много теплее.

Ученый снова написал в райисполкомы — на этот раз в Баевский и Хабаровский.

Первый ответ пришел из Баева. В нем сообщалось: «Деревня Преображенка в районе имеется. Со старожилами деревни была проведена беседа, но никто из них не помнит о падении метеорита. Очевидно, речь идет не о нашей Преображенке, а о какой-нибудь другой, из другого района».

Явнель стал ждать письма из другого — Хабаровского — района.

Вскоре пришло и оно. «Да, была у нас такая деревня — Преображенка, — писали из Коротоякского сельсовета Хабаровского района. — Но нашей Преображенки уже нет. На ее месте колосится пшеница».

Явнель развернул карту Сибири. Нашел село Коротояк, вблизи которого еще совсем недавно стояли домики деревни Преображенки. И Коротояк и Преображенка расположены на самой границе Алтайского края с Новосибирской областью. А по другую сторону границы течет упомянутая доцентом Антсочевым река Карасук. На одном участке она подходит почти к самой границе и оказывается очень близко от того места, где лежала Преображенка. От реки деревню отделяли километров 25, не более. Мелких ручейков, речушек вокруг Преображенки было много, а крупная река одна — Карасук.

Вот и сошлись концы с концами. Нашлась наконец деревня Преображенка Алтайского края на реке Карасук.

Метеорит № 158 получил имя Преображенка.

В 1982 году сообщение о Преображенке было помещено в издающемся в США Международном метеоритном бюллетене. Под этим именем метеорит стал известен ученым всего мира, вошел в советские и мировые каталоги.

О метеорите № 158 в метеоритном бюллетене сказано:

«Название: Преображенка.

Место находки: Деревня Преображенка Алтайского края, СССР.

Дата находки: 1949 год. Известен с 1980 года.

Класс и тип: Каменный. Хондрит.

Число индивидуальных экземпляров: один.

Общий вес: 414 г.

Образец находился до 1981 года в Ачинском краеведческом музее».

Ученые считают свою работу законченной. Установлено то, что необходимо для науки: время и место падения. Кто именно обнаружил небесный камень — это для науки не столь уж важно.

И все же очень хотелось бы знать, кто нашел Преображенку. Хотелось бы поблагодарить этого сибиряка, выслушать его рассказ об обстоятельствах падения и находки. Ведь поиски, находка, сохранение небесного камня часто связаны со всевозможными приключениями и трудностями, требуют времени и настойчивости. А «находчики» метеоритов — это обычно люди любознательные, смекалистые, упорные.

Конечно, по прошествии стольких лет вряд ли удастся разыскать человека, который спас для науки Преображенку. Но может быть, кто-нибудь из читателей вспомнит о падении метеорита возле деревни Преображенки Хабаровского района Алтайского края, об учителе, фамилия которого была Вотинов (или похожа на нее), а имя — Павел Васильевич. Если найдутся такие люди, просим их написать в Москву в Комитет по метеоритам Академии наук СССР.



Константин КОЗЛОВ

## ПОЭЗИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В ЗАВТРА

Бронтой Бедюров — один из самых молодых по возрасту и по литературному опыту в Горном Алтае. Многие поэты уже имели по две-три книжки, а он лишь начинал публиковать стихи на страницах областных газет. Но то, что он создавал, обращало внимание, зоркостью мысли, своеобразными образами. И не случайно известный советский критик Александр Михайлов в свое время писал в «Литературной газете»: «Мне запомнились два стихотворения совсем еще молодого алтайского поэта Бронтой Бедюрова — «Первые русские слова» и «Выпал белый снег». Что-то долго я не читал стихов, где бы с такой, если хотите, наивной непосредственностью выражен был, взгляд поэта на свое ближайшее окружение, на близкий ему мир. Бронтой Бедюров идет от устного сказа... Обыденно. Подкупающе просто. И с абсолютной уверенностью в значительности сказанного, с такой уверенностью, которая и у нас не оставляет никакого сомнения. Хорошо, если бы Бронтой Бедюров не утратил этой свежести поэтического мирозидения и углубился в духовную жизнь человека».

Проходили годы. Бронтой успешно окончил среднюю школу и не менее успешно выдержал конкурсный экзамен в Литературный институт им. А. М. Горького. Литературная среда, в которой он стал вращаться, благотворно сказывалась на его дальнейшем творчестве. Начинают появляться одна за другой поэтические книги на алтайском языке. Это «Краски гор», «Месяц возрождения», «Узоры на камне», «Стихи-миниатюры». А восемь лет назад под рубрикой «Первая книга в столице» вышел стихотворный сборник «Песни молодого маймана». В него вошли стихи о детстве, о матери, о первой любви, о суровой и прекрасной природе Горного Алтая, о своих чувствах к родине.

Хладеет небесная простынь,  
Желтеет на поле жнивье.  
Прозрачна алтайская осень,  
Шесть лет, как не видел ее.  
Колосья голодного детства  
Мы шли собирать налегке.  
Куда нам от памяти деться?..  
Слезинка ползет по щеке.

Бронтой Бедюров традиционен в самом хорошем смысле слова. Он лиричен. Его поэзия — это умение проникнуть в мир чувств и переживаний своих героев.

Этот сборник тепло был встречен критикой, русскими и алтайскими читателями.

И вот недавно появилась новая книжка стихов Бронтой Бедюрова «Возраст волн», вышедшая в издательстве «Советский писатель». Она отличается широкой тематикой, охватывающей как социальные, так и этнические планы человеческого бытия.

Философичность и историзм, проникновение в духовный мир нашего современника, ясность мысли и глубина чувств — главные достоинства творческих поисков автора. Стихам свойственны внутренняя напряженность метафор, энергичная интонация, страстный пафос гражданственности и глубины лирических откровений.

Совершенно справедливо отметил критик Александр Михайлов, что Бронтой Бедюров идет от устного народного сказа, которым и ныне так богат Алтай. В этом можно легко убедиться, прочитав его стихи «Зимняя песня комуса», «Огибая громадину Эль-Бабурмана», «Песнь синего волка», «Песни золотой кукушки», «Песнь о разорении Алтая», «Песнь валяльщиц войлока», «Похвала женщине-мастерице». Большинство стихов созданы поэтом на основе народного творчества, которым он бережно и умело пользуется.

«Одна из особенностей нынешнего периода развития литературы — выдвижение малыми народами поэтов, — говорит Александр Макаров, — лирика которых выражает чувства нашего современника с такой же, а бывает, и с большей глубиной и яркостью, чем это делают поэты народов, имеющих давнюю литературную культуру».

Это верно. Примером тому служит поэзия алтайских поэтов, в том числе и Бронтой Бедюрова. Их поэзия вышла из детского возраста, из периода, когда она осваивала новые чувства и понятия, рядилась в пестрые одежды «национального колорита», сводившегося к насыщению стиха деталями местного пейзажа, старого быта и т. п. Она научилась выражать духовный мир современника, богатый и сложный мир переживаний и чувств, равно заполняющий душу русского и алтайца.

Прекрасны стихи Б. Бедюрова о родном крае. Глубоко в память и сердце западают «Колыбельная песня матери», «Плач сороки», «Возжигание огня», «Песнь Шу-пу» и другие.

Не оставят читателя равнодушным и стихи из цикла «Знаки на песке». Некото-



рые из них связаны с именем выдающегося латышского писателя В. Лациса, который долгое время прожил на Алтае.

Бронтой Бедюров не ограничивается одной темой — о Горном Алтае. Его волнует все, что сегодня волнует его читателя. Как-то он побывал в древнейшем городе Средней Азии Самарканде. И вот из-под его пера рождаются строки стихов, включенные, на мой взгляд, в наиболее интересный цикл этого сборника «Врата Тамерлана», очень социально и современно звучащий:

Был грозный дед разбойник и воитель,  
Считал войну началом всех начал.  
А внук его — ученый и строитель,  
Вселенную по звездам изучал.  
И вот теперь в прохладном полумраке  
Хранят их сон гробницы купола.  
Затейливы арабской вязи знаки:  
Тому хвала! И этому хвала!  
И как познать нам тайну погребенья?  
Ведь в этом склепе вместе сведены  
Два символа извечного боренья:  
Дух светлый мира — темный дух войны.

У поэта необыкновенная наблюдательность, широта раздумий, а главное, что присуще настоящей поэзии — мышление образами.

Узор минаретов — змеиная кожа.  
Халаты — на зависть сорочьей красе.  
И так на восточные сказки похожи  
Веселые краски пустых медресе.  
...А вот на горячий асфальт Регистана  
(глазуют прохожие: «Ну, чудеса!»),  
Толкая осла пред собой неустанно,  
Въезжает арба — два больших колеса.  
Устав ею правит. Коричневые руки.  
Под солнцем вспотевшая шея крепка.  
Вбирает, как воздух, все краски и звуки  
Открытая осени грудь старика.

В сборнике «Возраст волн» много стихов на самые разные темы. Но есть нечто объединяющее их: это — глубокая авторская связь с тем, о чем он пишет. Его позиция. Она всегда неизменна и определить ее можно четко: гражданственность и партийность.



Валерий ЧИЧИНОВ

# ПЕРВЫЙ ШАГ

ЗАМЕТКИ О СБОРНИКЕ ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКИХ  
СТАТЕЙ «ИСТОКИ И ИСТОЧНИКИ»

Редактор журнала «Сибирские огни» А. Никульков во вступительном слове к сборнику «Истоки и источники» оценивает эту книгу как «вдумчивое слово критики». О чем это слово? О сегодняшнем литературном процессе на Алтае (за исключением алтайской литературы, к сожалению). О творчестве отдельных писателей: М. Юдалевича, И. Кудинова, Е. Гущина, Л. Квина, Л. Мерзликина и — обзорно — о других наших поэтах и прозаиках.

Главное достоинство рецензируемого сборника в том, что он рассматривает литературу Алтая в общесоюзном контексте. Трудная это задача. Но авторам сборника «Истоки и источники» удалось с ней справиться.

В. Дубровская сосредоточила свое внимание на том, что составляет ландшафт поэзии Алтая, ее, если говорить языком автора, «суперсистему» — тему деревни. В своих наблюдениях критик не идет на поводу у расхожих мнений, утверждая свой взгляд на вещи и показывая, что тему деревни алтайские поэты постигают в психологическом плане.

Анализ В. Дубровской, как правило, доказательный. Но иногда критик излишне снисходительна: вполне сочувственно приводит, например, стихи Н. Черкасова, которые для поэта — пройденный этап.

Садану под ложечку  
От души,  
Отнесу соперника  
В камыши.  
Пусть моя зазноба  
Над камышом  
Слезы неумемно  
Льет ковшом...

В этих стихах (да поймет правильно Н. Черкасов) нет и тени того, за что ругает автор статьи. Нет поэтической мысли и ее развития. И есть то, против чего критик энергично выступает — вялость, вторичность чувства, небрежность к языку, наконец.

Не случайно говорю об этом. Основное впечатление от статьи В. Дубровской, открывающей сборник, и от ее работы как составителя, хорошее. Тонко, например, она проследила творческий путь В. Башунова. Поэтому и огрехи ее воспринимаются неравнодушно.

Не смею утверждать, но думаю: не слишком ли категорична и сурова В. Дубровская в оценке стихов Г. Панова? Культуру его стиха она сводит к «источникам», то есть к книжной культуре. Автор этих строк против вторичности в поэзии. Никогда он не был в первых рядах поклонников творчества Г. Панова, но, следя за его развитием, вынес впечатление иное: обретать в «обширных полях русской поэзии» с таким, как у Панова, подходом, не так уж предосудительно.

Скажу, что, как читатель, я — за такую критику, образцы которой даны В. Дубровской, В. Горном и Г. Карповым. Их статьи, особенно В. Горна, отличаются вдумчивость и аналитичность, наличие системы эстетических представлений.

В. Горн — наиболее опытный среди авторов. Его статья «Это целая жизнь — человек» посвящена прозе Е. Гущина. Критик своим скрупулезным анализом прочно вписывает прозу Е. Гущина, его тему дома в нравственно-этические и художественные искания советской литературы. При этом главное внимание уделяется тому, «насколько глубоко проник писатель в мир человека, какие стороны многообразной движущейся жизни сумел отобразить и как сумел это сделать».

Это «как», стремление понять его суть позволяет критику увидеть прозу Гущина в движении — в движении единства «человек и природа». Показательны в этом плане образ Ивана Рытова из романа «Правая сторона», нереализованная человечность которого оборачивается против него самого, образы Клубкова и Стригунова. Это заметил и хорошо выразил в своей статье В. Горн. Нравственный смысл случившегося — вот что волнует критика. А «нравственность — это правда» (В. Шукшин).

«Жизнь оказывается сложнее некоторых представлений о ней. Человек — тоже». Эта мысль напоминает нам, что есть в жизни человек и есть мнение о нем. Мнение о нем узко, ибо оно однобоко, оно упрощает человека. А человек — это всегда сложно.

Давно, с первых шагов, знаю творчество В. Башунова, слежу за ним. Поэтому с особым интересом читал добротную статью Георгия Карпова о В. Башунове. Интересен рабочий тезис Г. Карпова: «В жизни ровно столько жизни, сколько в



ней поэзии». Через эту призму рассматривает критик поэзию В. Башунова и Л. Мерзликина.

Г. Карпов выделяет в теме деревни мотив «гостя» и, осмысляя его применительно к поэзии Башунова, делает вывод, что в его творчестве нет... виноватости перед деревней, которой «болеют» другие поэты. Возможно, что это и так, но это утверждение Г. Карпова требует публицистического раздумья. Хорошо ли это, что виноватости нет? А может, ее надо иметь и в других будить? И все же, думается, что в Башунове она есть. Есть в самом обращении к этой теме.

Хорошее впечатление производят обе статьи Карпова. Во-первых, вкусом своим, во-вторых, каждое стихотворение он читает, как часть книги, которую поэт пишет всю жизнь, что позволяет критику видеть и достоинство стиха, и издержки литературщины.

Говоря о поэзии Л. Мерзликина, критик говорит, что рост поэта шел главным образом за счет расширения круга тем, а не за счет постижения человеческого духа. Тонко подмечено, по существу.

Иные чувства оставляют статьи П. Забелина. При всей внешней публицистичности своей манеры критик говорит языком, чуждым языку серьезного анализа. Зачастую сам тон его статей вызывает сопротивление. Позволительно ли такое запанибратское высказывание: поэту было одно время двадцать с лишком, а теперь ему сорок с... хвостиком?

Как и все авторы сборника, П. Забелин анализирует творчество своего автора в общелитературном контексте. Но как он это делает? Лев Квин (спешу засвидетельствовать к нему свое уважение) выглядит в статье, простите, эффектнее, чем (кто бы вы думали?) А. Чехов и И. Бунин. У них, видите ли, замедленный сюжет, а у барнаульского писателя — стремительный. Не

слишком ли смело критик утверждает, что Квину «подвластно все богатство сюжета политического конфликта со всею живостью и полнокровием характеров»? Вот уж действительно, это отдает картиной «фантастического благополучия».

Наталкивают на полемику суждения и второй статьи П. Забелина со странной постановкой вопроса: «Стихи: рождаются или делаются?» И с невразумительным повторением истины: «Поэзия есть поэзия». Сегодняшний читатель прощателен и искушен. Несмотря на частые ссылки автора на авторитеты, желаемого обзора не получилось, это, скорее, перечень изданного на Алтае.

А вот образец суждений критика: «Можете улыбнуться, но я представляю стихотворение, от его рождения до зрелости, в виде капутного вилочка (?), этого сверхплотного шарика, где каждый оборот листа идеально прилегает к другому. Шедевры мировой лирики... — это куски сверхплотной, одухотворенной материи, маленькие пульсары, которые в тысячу раз меньше обычных звезд и во столько же раз тяжелее». Смесь астрономии с астрофизикой! Такие «кванты» мысли вряд ли украшают критическую статью.

Несомненно, более углубленного рассмотрения требует творчество М. Юдалевича и И. Кудинова. Глубинное измерение творчества этих писателей — дело будущего, хотя авторы статей о них (О. Ним и В. Ведерников) уже многое для этого сделали.

Итак, в своем движении вперед критическая мысль Алтая взяла первую коллективную высоту. На очереди новые. Чтобы взять их, надо смотреть дальше и видеть больше. В поле зрения критиков Алтая должна быть и литература Горного Алтая. Без нее картина литературной жизни Алтая будет всегда неполной.



что  
ста  
во-  
уж  
ан-  
  
ия и  
ной  
тся  
по-  
я».   
ис-  
то-  
не  
ю-  
  
до-  
ни,  
ти,  
х-  
ис-  
в-  
х-  
ь-  
ь-  
вз  
ни-  
п-  
  
с-  
е-  
те  
у-  
и  
о  
  
-  
ь  
ч  
.



Электронная библиотека АКУНЬ, [elib.altlib.ru](http://elib.altlib.ru)



50 коп.

Электронная библиотека АКУНЬ, [elib.altlib.ru](http://elib.altlib.ru)

На 1-й странице обложки фото С. И. Пирогова:  
Багнаул. Пионерская площадь